



Наоми Френкель

Дети

{Саул и Иоанна}

Саул и Иоанна

Наоми Френкель

Дети

«Книга-Сэфер»

1967

Френкель Н.

Дети / Н. Френкель — «Книга-Сэфер», 1967 — (Саул и Иоанна)

Наоми Френкель – классик ивритской литературы. Слава пришла к ней после публикации первого романа исторической трилогии «Саул и Иоанна» – «Дом Леви», вышедшего в 1956 году и ставшего бестселлером. Роман получил премию Рупина. Трилогия повествует о двух детях и их семьях в Германии накануне прихода Гитлера к власти. Автор передает атмосферу в среде ассимилирующегося немецкого еврейства, касаясь различных еврейских общин Европы в преддверии Катастрофы. Роман стал событием в жизни литературной среды молодого государства Израиль. Стиль Френкель – слияние реализма и лиризма. Даже любовные переживания героев описаны сдержанно и уравновешенно, с тонким чувством меры. Последовательно и глубоко исследуется медленное втягивание немецкого народа в плен сатанинского очарования Гитлера и нацизма.

© Френкель Н., 1967

© Книга-Сэфер, 1967

Содержание

Глава первая	6
Глава вторая	20
Глава третья	30
Глава четвертая	42
Глава пятая	59
Глава шестая	71
Глава седьмая	82
Конец ознакомительного фрагмента.	96

Наоми Френкель
Дети
третий роман трилогии
Саул и Иоанна
перевод с иврита Эфраима Бауха

Children

978-965-7288-49-8

Посвящаю трилогию «Саул и Иоанна» вознесшейся в небо душе Израиля Розенцвайга, благословенной памяти, чистой души в моей жизни, любовь моя к которой вечна

Глава первая

Город погрузился в туман. В окна стучится студёный ветреный вечер. Уже с начала ноября вьюга волочит снежные облака, цепляющиеся за крыши, подобные темным, с беловатыми прошвами, тканям, рвущимся в лохмотья. Ветер, завывая, закручивает белую крупу, пока она не падает на землю и замирает белым покровом.

В квартире доктора Блума на Липовых Аллеях ветер и снег сотрясают стекла окон. У выходной двери стоит Барбара. Ее задумчивое лицо погружено в лисий воротник пальто. Барбара поворачивает ключ в замке, но тут же снова открывает дверь, словно что-то забыла, бросает свою большую потертую сумку на стул, входит в темную комнату доктора Блума, включает свет и всплескивает руками:

– Так я и знала!

Маленький столик на трех изогнутых ножках пуст. Лишь чистый круг блестит среди слоя пыли.

– Иисус и святая дева! Снова доктор ушел и спрятал куклу в комнате старого господина, да упокоится душа его в раю!

Барбара размышляет вслух и пугается собственного голоса. Утром она забрала куклу из комнаты старого господина в конце коридора и положила себе на стол, а доктор вернулся и взял ее. И так изо дня в день. Она приносит куклу сюда, а доктор возвращает ее. Она – сюда, он – туда. И нет этому конца! Это просто кукла из ваты, с рыжими волосами, в кринолиновом платье, слегка обожженном по краям из-за неловкого движения покойной госпожи, матери доктора. Все предназначение этой куклы – быть посаженной на кофейник, чтобы сохранять кофе горячим. И только из уважения к покойной, водрузил ее доктор на столик, от швейной машинки госпожи. Годами стояла здесь кукла, пока однажды доктор не отнес ее вместе с другими вещами, скопившимися по углам, в комнату своего покойного отца. Домашние традиции перепутались и смешались, и Барбара, которая не могла привыкнуть к этому, кляла в голос все эти изменения. Но доктор словно бы и не слышал ее ворчаний, поджимал губы и продолжал переносить вещи с их привычных мест. Война между ними усиливалась со дня на день.

– Иисус и святая дева! – вскрикивает старуха. – Безумие явно охватило бедную голову доктора, просто какой-то ураган ворвался в нее!

Барбара торопится покинуть дом. У нее важные дела этой ночью. Сильно и сердито нажимает она на ручку двери и... Иисусе. Дверь заперта!

Доктор завершил войну простым способом: замкнул дверь.

– Нет! – кричит старуха. Она так быстро не сдастся. Она найдет ключ.

Но письменный стол в кабинете доктора пуст. Барбара с треском раскрывает ящики стола: ключа нет. Взгляд ее, словно прося помощи, упирается в календарь, лежащий на столе. Ага! Календаря доктор не коснулся. Там все еще отмечен этот фатальный день – второго октября. Барбара отметила его для доктора, как предостережение, знак ее решительного протеста. Барбара не оторвет листки календаря, пока не закончится сумасбродство доктора, и все станет, как прежде. Барбара почти бежит в гостиную, и вот: на столе связка ключей! Не подсказывало ли ей сердце, что сегодня что-то произойдет? Доктор забыл все ключи от квартиры. Плохой знак для человека, который ушел из дома, забыв ключи. Что-то из рук вон выходящее должно произойти.

Барбара снимает шляпу. Седые волосы падают на лоб. Теперь она не сможет покинуть дом. Надо подождать доктора и открыть ему дверь. Она возвращается в его комнату и прижимается лицом к холодному стеклу окна. На Липовой Аллее свирепствует вьюга, и огни с трудом пробиваются сквозь снегопад. Вихрь раскачивает большой фонарь у входа в роскошный ресторан. В свете фонаря чернеет фигура, подобно лужице на белом фоне.

– Я отец пяти голодных детей! Готов на любую работу!

Свет срезается темнотой и слабо тянется до Бранденбургских ворот, рядом с которыми застряли заметаемые снегом два трамвайных вагона. Около них – полицейская машина. Два прожектора высвечивают стенки трамваев и прикрепленные к ним плакаты:

«Всеобщая забастовка работников транспорта! Против урезания заработной платы властями республики!»

Люди в форме недвижно стоят у трамваев, словно прилипли к этим стальным животным. Лица их и свет прожектором обращены в сторону Бранденбургских ворот. Барбара напрягает глаза. Трагедия у ворот. Однажды там уже произошла трагедия, в тот день – второго октября. Была осень. Листья с лип опали по всей Аллее. Доктор и девушка Белла миновали ворота и шли под руку по Липовой Аллее, вовсе не ощущая листопада. На лице доктора было мечтательное выражение, и девушка, опиравшаяся на его руку, вошла с ним в дом. Он улыбался ей, и она возвращала ему улыбку. Они перемигивались. Теплота чувств царилла между ними. Стужа стояла снаружи, и желтые листья ударяли в стекла окон, словно о чем-то предупреждая. Оба ничего не видели и ничего не ощущали, бежали навстречу трагедии, как малые дети, а Барбара следовала за ними, до смежной комнаты, чтобы застыть у двери и слышать каждое слово, доносящееся оттуда, тем более, что в тот знаменательный, фатальный день, второго октября, взволнованные их голоса были необычно громки.

Белла сказала:

– Доктор, хотя у нас, в Движении, действует строгий запрет на употребление вина, но разрешение на въезд в страну Израиля отменяет этот запрет. Поднимем же тост, доктор, за вашу новую жизнь в нашей стране!

Доктор сказал:

– Выпьем, детка. Твоя репатриация в страну Израиля является достаточно веской причиной для тоста и двух счастливых поцелуев.

Она:

– Ах, доктор, дай Бог, чтобы я последовала за вами.

Звякнули стаканы. Барбара закрыла глаза от стыда. Сквозь вой ветра послышался голос Беллы:

– Доктор, не задерживайте ваш отъезд надолго. Езжайте немедленно. Нет у вас нужды брать с собой весь этот накопившийся в доме за поколения хлам. Выставьте все на публичную продажу.

– Все сначала, – сказал он, и голос его, который минуту назад звучал так молодо, неожиданно обрел старческие нотки. – А Барбара, что будет со старухой? Как я скажу ей об этом? На старости лет останется одинокой?

– Но, доктор, – сказала, сердясь, Белла, – что делать? Барбару вы устроите в почтенное заведение для стариков, и она там будет, как здесь, сидеть у стола над открытым словарем, и учить наизусть незнакомые ей слова.

Барбара рассмеялась и добавила:

– Вам надо думать только о своей жизни.

Голос его не обрел снова молодое звучание, а стал еще более старческим и печальным:

– Поздно, Белла. Жаль, что я не уехал туда много лет назад. Тогда все было гораздо легче... Расстаться с Барбарой. Была бы она помоложе. В последнее время она стала совсем «спинезной».

Больше Барбара не слушала, незнакомое слово пронзило ей сердце. Бросилась к словарю, и тут же обнаружила это слово. Как укусивший ее клоп, выпрыгнуло это слово со страницы. По латыни это слово обозначает настроение и поведение старой девы.

Ветер ударял в окно: старая дева!

Немедленно вернуться в комнату! Предстать перед ним и доказать, что сказанное им – ложь! Она бы, несомненно, это сделала, если бы не отчаяние, ослабившее ее тело и душу. Это показалось ей чудом, что глаза оторвались от этого угрожающего слова, и остановились на другом слове, словно освободившем ее. Слово это она нашла в конце той же страницы – «спиритизм»: оккультная вера в обнаружение связи с душами умерших при помощи стука. Они превращаются из обычно невидимых – в видимые».

Разве ей всегда не подсказывало сердце, что привидение – это осязание душ. Барбара зря не теряла времени, достаточно быстро обрела союзников в новой области, присоединилась к кружку спиритуалистов, и в последние недели не пропустила ни одной встречи. Она искала связь со старым господином, покойным отцом доктора. Он вышел в такую же вьюгу, в снег и ветер, зажечь свечи и помолиться в синагоге, и вернулся заледеневшим, и душа его отлетела с этим зимним ветром, воющим и буйствующим день и ночь на улицах Берлина. Многие души отлетают в ночь на крыльях ветра, и с ними – душа старого господина. Пытается Барбара взять с него клятву, чтобы он запретил сыну сделать необратимый шаг, бежать с молодой девушкой навстречу трагедии, в дальнюю и чужую страну. Старый господин умел влиять на сына, и заставлял его подчиниться ему. Иисус Христос, время поджигает! Уже завершил доктор все свои дела, уже освободил сестру милосердия, которая все годы встречала пациентов, уже снял вывеску со стены дома со своим именем и профессией. А сам стал уходить каждое утро, как ученик, с портфелем, в какой-то офтальмологический институт, изучать тропические заболевания глаз. И если не поторопится душа старого господина, произойдет катастрофа.

Барбара слышала позвякивание стекла под ветром, доходящее до нее эхом. Иисус, да это же звонки в дверь! Доктор! Уже долгие минуты тот звонит в дверь.

– Быстро снимайте пальто и сапоги! – кричит старуха. – Вы весь белый и замерзший. Подобно привидению, предстал перед ней доктор. Пальто в снегу, губы посинели! До чего он похож на своего отца, благословенной памяти. В такую ночь неизвестно, что приносит человек домой, и что оставляет за порогом, на ветру. Скорее, горячее вино ждет его на плите.

– Барбара, – прерывает ее доктор, – как хорошо, что ты меня ждала. Ты нашла ключи?

При слове «ключи» помрачнело лицо старухи, как бы говоря: «Погоди, погоди, мы еще посчитаемся за все». Доктор, зная характер Барбары, уже приготовился рассыпаться в извинениях, но Барбара отреагировала коротко:

– До свидания!

– Что? В такую вьюгу? Нет!

– Выпейте горячего вина, – сказала она и тут же исчезла. Доктор остался один.

Вздыхнул, отставил портфель, вошел в свою комнату, увидел пустой столик и улыбнулся. Куклы нет, но электричество включено, и занавеси раздвинуты в стороны. Барбара здесь отметилась. Посмотрел в настольный календарь: Барбара и сегодня не оторвала листки. Листок второго октября, знаменательный для него день, все еще не был оторван. Доктор грузно опустился в свое кресло. Он сильно устал. Почти целый день провел в институте тропических заболеваний глаз. Нелегко быть учеником в его возрасте. Глубокая морщина пролегла у него между бровей. Не лежит у него душа к самому себе. С того дня, как репатриация в страну Израиля стала делом реальным, сдает душу мучительное чувство. Доктор знает, что это просто страх перед будущим, и старается изгнать из сердца эти ощущения, но чем больше он силится вызвать в душе новые силы, мрачность и тяжесть набрасываются на него. Внезапно он чувствует груз своих лет.

Он уже перешел грань пятидесяти лет, и в глубине души возникла тяга к покою, к безмятежной жизни. Он уже не готов ни к революционным шагам, ни к сильным болям, которые поселились в душе его в последние недели. Белла, эта маленькая революционерка, которая внесла радость в его пыльные комнаты, сидела с ним на обтрепанном диване и ткала перед ним прекрасные сны будущей жизни. Она швырнул первый камень в озеро его мечтаний, когда с

уверенностью решительно провозгласила: «Здесь будет публичная распродажа! Пришел конец хламу поколений, скопившемуся в вашем доме. Начните новую жизнь». Слова «новая жизнь» вырвались из ее уст, как приказ, и он испугался. Эти ее уверенность и решительность, и все ее действия – поглотили ту мечтательную мягкость, какой до сих пор отличались их отношения. До сих пор она была для него маленькой девочкой, поддерживаемой его мудростью и любовью, ощущающей его дом, как убежище. Внезапно она обернулась ведущей, определяющей его путь. Он почувствовал, что его отношение к ней меняется. Она же этого не ощущала, и изо дня в день все более уточняла детали нового плана.

– Доктор, – пришла с большой радостью, – отец дал мне человека, который проведет распродажу ваших вещей. Я уже была у него и уже...

– Не торопись так, Белла.

– Но, доктор, – сердилась она, – еврею, который получил визу на репатриацию, нельзя мешкать!

Взгляд доктора печален. Она не может понять причину этой печали и не понимает, что он вовсе не желает, чтобы она организовала продажу имущества его предков. Он знает: все, что будет происходить в ближайшие недели в его квартире, принесет ему невыносимую боль.

– Все продать? – печально спросил он.

– Все, – ответила решительным тоном.

Так они дошли до конца коридора, к черному большому шкафу около комнаты покойного отца. Непроизвольно открыл дверцы. Резким запахом пахнуло им в лица – запахом старой расплзающейся по швам одежды. Белла зажала нос. Шкаф был забит праздничными одежками прошлых поколений.

– Закройте шкаф, – Белла продолжала зажимать нос, – вы что, собирались хранить все эти лохмотья!

– Иди и договорись о дне продажи с твоим человеком, – сказал он сухим голосом, в надежде, что она уйдет.

Он закрыл гравированные дверцы шкафа, оставив его на произвол судьбы, и продолжал бегать по комнатам, извлекая и задвигая ящики, доставал дорогие его сердцу вещи и прятал их для того, чтобы затем их вывезти тайно в страну Израиля. В комнате отца вещи были нагромождены, затем растаскивались. Барбара, с напряжением следящая за его действиями в последнее время, естественно обнаружила его тайники и старалась вернуть вещи на свои места, а он их спасал из ее рук и снова прятал в комнате отца. Эта чехарда ему, в конце концов, надоела, и он решительно запер отцовскую комнату на замок.

Доктор в кресле вздыхает. В последние недели он ходит, как лунатик. Все время убегает от Барбары, бежит от самого себя. Могло уже завершиться его смятение, смогла бы уже произойти распродажа, если бы не забастовка, которая продлила время его мрачного настроения.

И когда настойчиво звенит дверной звонок, доктор бежит, натыкаясь на стулья, стучит дверьми, ищет ключи, лежащие прямо перед его глазами.

– Минутку, я открываю, минутку!

Струя морозного воздуха врывается в сумрак коридора. Молодой человек, весь в снегу, прячет лицо в толстый свитер, лоб его прикрыт шапкой.

– Доктор Блум!

– Заходите, заходите. Вы, наверно, в связи с торгами, – говорит он, не различая лица парня.

– Но, отец, – парень снимает шапку и стаскивает свитер.

– Ганс! – доктор опирается на кресло.

– Ты сразу узнал меня, отец.

– Ну, конечно, – доктор протягивает руку сыну. Рука холодная и чуть дрожит. Доктор скидывает взгляд и сам удивляется тому, что сразу узнал его.

Не сильно изменился облик взволнованного юноши по сравнению с тем веселым краснощеким подростком, который покинул дом десять лет назад. Господи, совсем запутался перед сыном. Явно генетическая путаница. Рост у сына средний, как и у отца, волосы светлые, как у матери, но кудрявые, как у отца в юности. Глаза светлые, материнские, голубые, но глубоко посажены в глазницы, над которыми нависают довольно толстые брови. Кожа светлая, белая, но в чертах лица нет светящейся легкости Гертель. Лицо сына до того серьезно, что даже волнение и радость встречи не могут согнать с него печаль. Нет... – доктор вынужден себе признаться, что, что эта расовая смесь никакой красоты не добавила облику сына, и с большой жалостью пожимает ему руку.

– Быстрее снимай пальто, Ганс. Ты действительно застал меня врасплох.

– Извини меня, отец, за внезапность, – говорит сын, и снимает пальто, – не сообщил тебе о приезде, боялся, что ты не захочешь меня принять.

– Ах, – вздыхает доктор тоном, говорящим: поменьше слов. – Заходи сюда, Ганс, заходи, – и зажигает в честь гостя большую хрустальную люстру. – Садись, вот здесь, в кресло напротив камина. – Хлопчет доктор вокруг сына, и никак не может помолчать. – Но откуда ты так неожиданно возник? Откуда?

– Прямо с вокзала, отец. Приехал в Берлин после полудня, но забыл про забастовку. Пока отыскал транспорт, прошло много драгоценного времени. А тут еще толпы по пути, отец, демонстрации, столкновения! Берлин выглядит как при гражданской войне.

Доктор что-то бормочет и ловит себя на том, что не вслушивается в слова сына, только и уловил слово «отец», которым сын завершает каждое свое предложение, словно бы это завершение, подобно подписи, приносит ему особое удовольствие. Прислушиваясь к тону сыновнего голоса, тихому и медленному, как бы подтверждающая, что тон этот приятен его слуху, он вдруг спохватывается, что не проявляет о сыне заботы, и говорит испуганно:

– А я заставляю тебе здесь сидеть без ничего, замерзшего. Сейчас принесу горячего вина, – хочет добавить слово «сын мой», и не может. И торопливо бежит, натываясь на все кресла, и стуча всеми дверьми.

Сын остается один. Хрустальная люстра с избытком льет свет на пыльную мебель. Свет растекается по всей этой обветшалой роскоши. Жалость возникает в его сердце. Он нервно барабанит пальцами по поручням старого кресла, и глаза его натываются на календарь над письменным столом, открытый на начале октября, сейчас, в ноябре-месяце. Он вскакивает с кресла, срывает, не задумываясь, лишние листки, и всовывает их в карман своего пальто. Ощущение, что, наведя, таким образом, порядок в жизни отца, он освобождает сердце от горечи, которую внесла в него жалость.

– Иду! Иду! – кричит отец на входе, и натывается на маленький столик, у двери. Один из стаканов опрокидывается, и вино выплескивается на ковер.

– Ах! – пугается доктор.

Ганс берет из его рук поднос и ставит на столик. Глаза их, встретившись, улыбаются. Отец хочет снова пойти в кухню, но сын задерживает его за руку.

– Не беги, отец. Большой стакан достаточен на двух. Ты не помнишь, отец, развлечение, которое мы любили в моем детстве? Мы пили из одного стакана и ели из одной тарелки, и ничего вкуснее этого не было. И только Барбара сердилась по поводу микробов, которые переходят изо рта в рот, могут размножиться и расти в моем животе, – смеются сын и отец, – она еще жива?

– Жива, жива, Ганс, – смех добавляет морщины на лице доктора, много мелких и веселых морщинок, – она весьма деятельна, и у нее много новых идей, типа тех микробов.

Вино и смех сделали свое дело. Тяжелый взгляд глаз доктора размягчился в улыбке. Сын уже не сидит в напряженной позе. Отец чувствует, что ему есть, что сказать сыну, что-то зна-

чительное, но он не может найти верное выражение своим сердечным чувствам, и потом говорит тоном серьезного беспокойства:

– Но, Ганс, где твои вещи? Оставил за дверью? У нас, в Берлине, нельзя оставлять вещи без присмотра. Многие обнищали.

– Не беспокойся, отец, вещи мои в камере хранения на вокзале.

– Но, Ганс! Почему ты их не принес их с собой сюда?

– Отец, я собираюсь продолжить дальше свой путь еще сегодня ночью.

– Куда? – вскрикивает доктор.

– В Штетин. После полуночи туда уходит поезд. А оттуда отплывает корабль в Копенгаген. Я покидаю Германию навсегда, отец.

– Но, но, – доктор смущен и не может скрыть своего глубокого разочарования, – ты навсегда покидаешь Германию, и ко мне приходишь так не надолго?

– Я не знал, желателен ли тебе мой визит, отец. Я ведь о тебе ничего не знал десять долгих лет...

– Ты хочешь сказать, что я тобой не интересовался? – прерывает его доктор, и брови его сжимаются. – Но так было решено между мной и твоей матерью. Мы верили, что для тебя будет лучше, если я исчезну из твоей жизни. Твоя мать обещала мне, что найдет для этого подходящее объяснение...

– Ну да, естественно, мать нашла объяснение: сказала, что ты умер.

Лицо доктора краснеет.

– Не сердись на мать, отец. – Мирный тон сына успокаивает отца.

– Ты же знаешь, отец, у матери всегда был покладистый и прямодушный характер, но она была простодушна, и не могла в этом простодушии разобраться во всех сложностях, которые ей подносила жизнь. На родине она так и не могла прижиться. Всегда там вокруг нас были всякие шепотки и сплетни. Мы переехали в курортный городок на берегу реки. Мать открыла там гостиницу для отдыхающих, чтобы зарабатывать на жизнь.

– В этом не было нужды, – пресекает его отец, – я обеспечивал вам нормальную жизнь деньгами и имуществом.

– Конечно, отец, само собой разумеется. Полагаю, что не из-за забот о зарплате мать открыла гостиницу. Она была молодой женщиной, искала статус в обществе, гостиница была ей нужна для встреч и бесед с людьми. Но она бы не достигла этого статуса, если бы в этом ей не помогла церковь.

– Церковь?

– Церковь, отец. Сразу же с переездом в курортный городок мать вернулась к католической вере. Стала глубоко верующей христианкой, строго придерживающейся заповедей, регулярно посещающей церковь, всегда носящей темные одежды.

– Ну, а ты? – Лицо отца снова краснеет.

– Я, отец? В голове моей была полная путаница. Знак еврейства на моем теле, а священник приходил к нам в дом каждый день, и комментировал очередной отрывок из писания. Но мать ни разу не брала меня с собой в церковь, ни разу не произнесла о тебе плохого слова. Наоборот, отец, она сделала из тебя героя войны. Всегда рассказывала, что раковое заболевание ты принес с собой с войны, и от него умер. Всегда она гордилась твоими талантами, и я тоже гордился тобой и очень тебя любил.

– Ты меня любил?

– Да, отец. Сильно любил. – Голос сына настолько тих и равнодушен, что, кажется, он говорит о жизни чужого человека. – Твой большой портрет висел в комнате матери, и я прокрадывался в ту комнату и всегда пытался сравнить свое лицо с выражением твоего лица. И в день...ах, извини, отец, было, естественно, день в году, который мать определила как день... – Ганс закашлялся.

– Как день моей смерти, – отец пришел ему на помощь и рассмеялся, – и какой же это день?

– Восьмое февраля, отец.

– О. Господи, это же день моего рождения.

– Ну, да, восьмое февраля... В день твоего рождения мы зажигали высокие свечи перед твоим портретом, и преклоняли колени, как в церкви.

– Такая бестолковщина! – сердится отец. – Такая бестолковщина!

– Отец, не сердись на обычаи матери. Несмотря на эти христианские обычаи, я считал себя евреем, верным сыном своего отца. Не вступил в германское молодежное движение, не посещал уроки христианской религии в школе, несмотря на то, что городок наш был националистическим и религиозным, и жизнь моя там не была уж такой радостной, отец. Путаница и суматоха началась с чтением книги доктора Моргенфельда.

– Доктора Моргенфельда?

– Ты не знаком с этой книгой, отец? Жаль. Я ведь хотел что-либо узнать о еврейской религии. В нашем городке евреев не было. Даже в курортный сезон к нам евреи не приезжали отдыхать. Рестораны и гостиницы вывешивали объявления, что вход евреям воспрещен, и потому евреи бне посещали вообще наш городок. Единственно, что я знал о еврействе, я ведь был обрезан. Вот я и заказал книгу о законах и обычаях Израиля.

– Правильно сделал.

– Очень интересная книга, отец. Но там я нашел, что ребенок, у которого мать христианка, тоже христианин... Даже, если отец...

– Но, Ганс! Твоя мать приняла еврейскую веру, когда родила тебя. Стала еврейкой. И ты – еврей.

– Тогда я не придавал этому значения. Да и улица добавила объяснения к выкладкам книги доктора Моргенфельда.

– Улица, Ганс?

– Улица, отец. На улицах с восторгом пели: «В еврейской вере ничего неверно, она – источник скверны!» Тебе, верно, знакома эта песенка, отец?

– Еще бы. Кто ее не знает в наши дни?

– Ну вот. Так встретились объяснения доктора Моргенфельда со словами песенки. Я был сыном скверны в глазах у всех. В глазах евреев, потому что моя мать – христианка, и кровь христиан...

– Но, Ганс, я ведь тебе сказал! – вскрикнул доктор.

– Конечно, отец, конечно, сказал. Но как я мог это понять. Был подростком в глазах моего городка, нечистым, потому что отец мой еврей. Путаница и бестолковщина дошли до апогея, когда в один из дней я узнал правду.

– Мать вернула меня к жизни?

– Нет. Не она, а господин Детхольд Айзенбрехер.

– Детхольд Айзенбрехер? Не помню, что был знаком таким человеком.

– Конечно же, не был, отец. Однажды он появился в гостинице матери. Ему необходимо было поправить здоровье, ибо, несмотря на такое имя – «ломающий железо», он был худосочен и нищ. Но чувствовалось в нем, что праотцы его в первобытных лесах Пруссии ломали железо и наследовали своему худосочному потомку преклонение перед сталью, железом, и всему им подобному по крепости и мощи. Он часто любил повторять – «мы, из пехоты», и слово – «инфантерия» произносил так, что каждая буква вытягивалась по стойке «мирно» под его языком. Все живые существа у него делились на два сорта: те, кто служил в инфантерии, и те, кто этого не удостоился. Так, что в один из дней терпение мое лопнуло, и я сообщил ему, что мой отец служил в инфантерии.

– Не дай Бог! Никогда! Я был фронтовым врачом.

– Конечно, отец, я это знал. Да и Детхольд Айзенбрехер знал, он поднял на меня свои голубые глаза странным и сильным взглядом, а моя мать опустила голову. Какое-то беспокойство прокралось в мою душу, не из-за матери, которая отвечала на его ухаживания. Мне было почти пятнадцать лет, и я понимал ее одиночество и видел господина Детхольда Айзенбрехера... Кстати, отец, Детхольд был промышленником, выпускал духи, и крепкий их запах всегда шел от него... Я видел его хозяином в доме матери... И не из-за матери у меня было тяжело на сердце, а из-за странной атмосферы, которая начала окружать твое имя в доме.

– Хм-м, – хмыкнул доктор.

– Неожиданно это показалось мне подозрительным, пока... не открылась мне правда.

– Он сказал тебе? Производитель духов сказал тебе?

– Нет, отец, правда открылась мне на кладбище...

– Что? – воскликнул доктор. – Опять на кладбище?

– Отец, – удивился сын, – что ты сердишься на кладбище? Кладбище в нашем городке было удивительным местом. Именно его предпочитали влюбленные парочки любому другому приятному и таинственному уголку в нашем городке. И меня тянуло туда – уединиться со своими тайнами. Я видел себя вне обычной жизни, неким гибридом, отец. Просто гибридом.

– Хм-м...

– Отец. – Сын не обращает внимания на сердитое хмыканье отца. – Каждый вечер я посещал кладбище. Во мне усиливалось желание вообще уйти из жизни.

– Хм-м...

– Естественно, отец, это желание было глупым, но очень сильным. В тот вечер я пришел на кладбище – остаться наедине со своими мыслями, и вдруг услышал у могильного надгробья священника Эрнста Августа Видершала, гордости нашего городка, голос моей матери и голос господина Айзенбрехера, на этот раз говорящего не об инфантерии, а обо мне и о тебе:

«Твое прошлое я прощу, но не твоего сына. Я, сын германской нации, не буду растить сына еврея. Верни его отцу, и мы поженимся». Я еще услышал решительное «Нет» матери, и сбежал оттуда. Итак, мой отец жив! Я долго шатался по улицам городка в тот вечер, но так и не нашел выход из возникшей путаницы. Я вошел в комнату матери и нашел ее сидящей у окна, и тут же увидел, по выражению ее лица, что мечта ее не осуществилась. Но я, без всякой жалости, закричал ей лицо: я собираю свои вещи! Завтра вернусь к отцу! И лишь потому, что из глаз ее брызнули слезы, согласился выслушать ее рассказ. Она выложила все, ничего не скрывая. О тебе она не сказала ни одного дурного слова. Сказала, что была недостойна тебя, и умоляла, чтобы я с тобой никогда не виделся, ибо я окажусь под твоим крылышком, никогда к ней не вернусь: до такой степени велика твоя личность, до того сильно твое влияние. Я обещал ей, отец, я даже поклялся. Она была такой несчастной, я ведь был единственным, кто у нее остался. Она во имя меня отказалась от всего, в том числе, от господина Детхольда Айзенбрехера.

– Пей, Ганс, – доктор Блум пододвигает сыну наполовину выпитый стакан вина.

Ганс послушно делает несколько глотков, и отец не отрывает от него своего тяжелого взгляда. Сын возвращает на стол пустой стакан и вдруг произносит веселым голосом:

– Но, отец, мы обязаны радоваться! – по словам моего друга Дика. Я, в конце концов, закончил учебу в гуманитарной гимназии нашего городка, и продолжил занятия в университете Геттингена.

– Ты учился в Геттингене? И что ты там учил?

– Минутку, отец, я должен отыскать верные слова, чтобы объяснить тебе мое тогдашнее положение. Это нелегко. Душа моя словно бы плыла в те дни в замкнутом темном ковчеге в водовороте жизни. Я стал сам себе чужим. Абсолютно раздвоенной личностью, отец. Душа была отсечена от тела и безраздельно ненавидела реальность моего тела и всего мира. Единственная страсть, оставшаяся в моей душе, была страсть, тяга, желание покинуть этот мир, «не быть»...

– И это все, что ты делал в Геттингене? Не учился, не продвигался в занятиях?

– Нет, отец. Ничего не учил. Единственно, что я хотел это определить, кто я, и не находил своей личности в этом мире, потому все было бесцельно, кроме лежания в постели и ожидания собственного близящегося исчезновения. В таком состоянии я встретил моего друга Дики Калла.

– Кто он, в конце концов, этот Дики Калл?

– Ах, отец, описать его – дело весьма сложное.

– Сложное? Все – сложность, путаница, бестолковость.

Ганс вздохнул, сложил на груди руки, и взглянул на отца теми же глазами семейства Блум, светлый цвет которых не скрыл в них тяжести взгляда.

– Итак, – говорит доктор, – твой друг Дики тоже еврей, как и ты?

– Частично, отец, частично еврей.

– Что значит «частично», Ганс?

– Большая путаница, отец. Не менее, а, быть может, даже более, чем у меня. История растягивается на несколько сотен лет, отец. Начало этой путаницы в шестнадцатом веке. Сын протестантского священника из Дрездена решил однажды покинуть протестантство и перейти в иудеи.

– Странно, – качает головой доктор.

– Это записано, отец, красивым почерком священника в церковной книге. Сын вычеркнут из семейных святцев и изгнан из дома. Оставил свою родину, Германию, и уехал в Венгрию. Причина изгнания сына священником в книгу, естественно, не вписана.

– Естественно.

– В Венгрии, отец, сын пошел к раввину изучать Тору, совершил обрезание, взял в жены еврейку, и создал еврейскую ветвь прусской семьи Калл. Он-то и предок моего друга Дики. Здесь могла и завершиться эта история Дики, и мой друг мог родиться вне всякой путаницы, законченным евреем, но...

– Но?

– Но протестантская семья Калл в Германии достигла высокого статуса, стала элитой, в течение поколений сыновья стали прусскими офицерами. Моему другу, венгерскому еврею Дики, по сути, нет до них дела. Но в девятнадцатом веке один из офицеров, членов семьи, оказался втянутым в некое хобби по исследованию истории семьи, начиная с того священника-отца. У офицера были поэтические наклонности, и он хотел написать книгу о семействе Калл, в которой видел символ стремящейся к уготовленному своему величию Германии. Покопался он в старинных книгах Дрездена, и нашел изгнанного сына, записанного готическим шрифтом священника. Прусский офицер был педантом и любителем порядка, и потому тут же занялся расследованием. Не остался ли в Венгрии кто-то, носящий имя потерянного сына.

– И нашел, – пытается отгадать доктор.

– Конечно же, нашел, и совершенно случайно. Была ярмарка в городе частых ярмарок Лейпциге. Евреи Каллы в Венгрии, были купцами, и Калл девятнадцатого века приехал в Германию, в Лейпциг – выставить свои товары. И тут судьба избрала его внести путаницу в жизнь моего друга Дики. Господин Калл, еврей из Венгрии, записал свое имя и адрес в гостевой книге самого роскошного отеля города, завершил все свои дела и вернулся в свою страну и семью. Не прошло много времени, и в этот же отель прибыл прусский Калл, и, записываясь в гостевой книге, с удивлением обнаружил Калла, опередившего его, венгерского Калла, которого он разыскивает много месяцев. Как честный и педантичный исследователь, он тут же послал письмо купцу Каллу. Пришел короткий и вежливый ответ. Не может быть никакой связи между евреем Каллом и прусским аристократом Каллом. Но педантизм и порядок ринулись на помощь офицеру-исследователю, и он явился к еврейскому купцу, и тут обнаружилось, что поколения не смогли стереть внешнее сходство между ними. Оба высокие, оба блондины,

оба светлоглазые, и у обоих прямые, тонкие и точеные носы. Как объяснил мне, мой друг Дики, светлый германский тип остался главенствующим в семье, несмотря на то, что к нему присоединились только венгерские смуглые и темноволосые еврейки. У моего друга Дик, отец, был очерк лица прусских офицеров. Высокий, светловолосый и светлоглазый, с прямым носом, друг мой красив. Итак, пришел прусский офицер к еврейскому торговцу, вместе они стали ворошить родословную венгерской семьи Калл, добрались до шестнадцатого века, к потерянного сына, и удостоверились, что ни родственники – прусские офицеры и еврейские купцы.

– И тут, – качает головой доктор, затрудняясь поверить рассказу сына, – тут можно предугадать конец истории: офицер отвернулся от купца, вернулся домой, и сын из шестнадцатого века так и остался отверженным.

– Ошибка, отец. Прусские Каллы не отказались от венгерских Каллов, потомков отверженного сына. Наоборот, они гордились ими. Венгерские Каллы были богачами, вежливыми, культурными, внешне красивыми и добрыми по характеру людьми. Их не надо было стесняться. Прусские Каллы наладили с ними крепкие семейные связи. Каждый год собирались на семейные собрания. Все эти сходки прусский офицер фиксировал в книге, внося еще большую путаницу в жизнь моего друга. Книга писалась как семейная хроника, начиная со священника, который отлучил своего сына от семьи. История отверженного сына была записана без единой нотки фальши, и была принята с уважением прусскими аристократами семьи Калл. Книга была напечатана на немецком и венгерском языках. И когда ушел из жизни офицер-исследователь, сыновья его продолжили дело отца. Из поколения в поколение прусские и венгерские Каллы продолжали семейные сборы, попеременно, в прусском доме, в Германии, и в доме венгерской семьи Калл. Каждое поколение дополняло книгу семейной хроники, и портреты членов обеих семей стояли рядом на страницах этой впечатляющей книги. Они любили и уважали друг друга, протестанты и евреи. Это могло продолжаться до конца всех поколений, когда внезапно, к вящему удивлению всех Каллов, отец Дика, потомок глубоко набожных евреев, решил вернуться в лоно религии своего праотца, протестантского священника, и стать христианином. Иудаизм извел его душу, и он твердо решил исправить дело своего отверженного предка и пройти обряд крещения. Обе ветви семей – прусская и венгерская – с неприязнью отнеслись к этому поступку. Прусские Каллы со своей педантичностью и прямолинейностью в течение всех поколений, так же, как и венгерские Каллы, не допускали никаких отступлений от семейных традиций, и не вернули в лоно семьи родственника, сменившего религию. Он был отвержен обеими ветвями семьи, женился на глубоко верующей протестантке, сухой и черствой педантке. Дики родился от этого слияния сухости и горячности, тонкости и предательства, и эта путаница стояла у его колыбели.

– И так вы встретились в Геттингене. Ты и он... Оба с запутанной родословной.

– Нет, отец, ошибаешься. Путаница пошла моему другу на пользу. Не видел в жизни более веселого и радующегося всему человека. Он снял комнатку рядом с моей в небольшой гостинице, в Геттингене. Уже в день приезда он постучал ко мне в дверь, не ожидая ответа, открыл ее, и, не обращая внимания на беспорядок, и еще не назвав своего имени, громко воскликнул: «Ты болен, парень! Виски! В этом случае помогает только виски». Принес бутылку. Сделали по несколько глотков один за другим, и я поднялся с кровати.

– Слава Богу.

Когда мы закончили пить, Дики поручил мне роль экскурсовода.

– Это потрясающий город, – восхищенно вскрикнул отец.

– Да. Месяцами жил в нем и не находил никакого очарования. Но с появлением Дики, я стал подолгу гулять с ним. Угла не осталось в Геттингене, который Дики не просил бы посетить, не было ресторана в округе, где мы не перепробовали блюда. Парень был веселым, город красивым, но стоял год 1932. Однажды мы гуляли по старинной городской стене и наслаждались романтической атмосферой города, и вдруг – барабаны, и трубы, и огненные знамена, и

свастики. Коричневорубашечники устроили шествие у подножья старинной стены, и при этом орал песню, о которой я тебе сегодня напомнил, отец. Я хотел тут же вернуться и запереться в своей комнате, но Дики... Ах, отец. Дики поднялся на стену, измерял ее шагами, радовался и возбужденно орал в мою сторону: «Ганс, смотри! Средневековье. Настоящие средневековые дни. Старинная стена. Старый колодец, вековые деревья, башни, и коричневые рыцари идут оттуда. Дни средневековья, Ганс! Потрясающе!»

Гнев охватил меня, и я заорал ему в ответ:

– Кончай ломать комедию!

– Почему нельзя высмеивать это? Плакать, что ли?

Он продолжает смеяться, а шум у старого колодца усиливается. И в завершение шествия, из множества глоток, поверх кожаных ремней, вырывается песня:

Взметнутся наши знамена, и станет вокруг горячей,
Когда еврейская кровь потечет с наших мечей.

– Ты еще можешь шутить и веселиться, – орал я ему, – но я... еврей.

– И я, – с удовольствием отвечает мне Дики и кривит свой германский орлиный нос – Отец, не поверишь, если расскажу: там, у колодца, над головами визжащих рыцарей «Смерть евреям!», между нами возникла ссора, кто из нас больше еврей или больше немец. Кто из нас способен принять это, а кто нет, и голоса наши гремели не менее сильно, чем крики шествующих внизу. Так мы препирались, когда вдруг Дики зашелся от смеха и сказал:

– Ганс, мы сошли с ума, запутались окончательно.

Дики опустил голову мне на плечо, и там, в присутствии орущих коричневых рыцарей, завершил свой рассказ. Вместе с отцом они оставили Америку. Дики ехал закончить учебу. Да, забыл тебе рассказать, отец, что Дики – талантливый физик-атомщик, а отец сопровождал его в поездке в Европу. Мать осталась дома одна, соломенная вдова, как выяснилось позднее. Когда они прибыли в Европу, отец объявил сыну, что пути их расходятся. Он собирается в Венгрию, к евреям Каллам, помириться с семьей. Но Дики он с собой не возьмет, ибо Дики – христианин. И разве не зря проводит все годы своей жизни под присмотром нелюбимой женщины? Сын глубоко набожной протестантки должен вернуться в лоно протестантской прусской семьи, чего отец не в силах сделать. Дики исправит грех предка, жившего в шестнадцатом столетии. Итак, Дики расстался с отцом и матерью. Я сердито заметил ему:

– Почему же ты не вернулся к своим аристократическим родственникам?

Он повернулся ко мне, и лицо его стало печальным:

– Я боюсь вернуться к прусским офицерам. И они изменились, и маршируют, как коричневые рыцари по улицам Германии. В моих жилах течет еврейская кровь, Ганс. Я в их глазах сын скверны, несмотря на то, что моя мать глубоко религиозная христианка. Усилия несчастного отца пропали даром. Я остался сыном без отчего дома, без родителей, без народа и Бога. Но я не плачу, как ты. Ганс, такие понятия, как национальность, народ, религия, еврей, христианин, партия и мировоззрение, весьма туманны и не поддаются ясной и четкой формулировке.

– Ну, и куда же отправишься? – закричал я.

– В космос, Ганс. Истина открывается только в исследовании объективной реальности. Лишь наука может раскрыть мне сущность жизни. Там тебе не лгут, и ты не лжешь сам себе. Истина – это насущная необходимость науки. Там никто меня не преследует, там я не потерянный бездомный сын. Там дом мой – вселенная. Ганс, идем со мной. Год 1932 – это год чудес. Обозначается путь к великим открытиям. Быть может, мы откроем такое, что потрясет основы мира. Может, дано будет нам, двум потерянным сыновьям, вернуться в великую человеческую семью, столь богатую истинными достижениями. Едем со мной в Копенгаген, к великому ученому-физику Нильсу Бору.

– Ты сошел с ума? Я и физика? Никогда ею не интересовался.

– Жаль, – сказал он, – ты потерял много времени, постарайся его наверстать: игра стоит свеч. Вот, я и еду с ним. Убегаю в Копенгаген, попытать счастья в новой жизни.

Доктор Блум неожиданно встает со стула, приглашая сына идти за ним. Они быстро минуют комнаты. В запущенной столовой из радиоприемника несутся праздничные мелодии балетной музыки. Почти в гневе доктор выключает приемник, врывается в коридор. Сын – за ним. Они стоят на пороге комнаты, забитой книгами, бумагами, мебелью и уймой вещей. Все это набросано в полном беспорядке на стулья и столы. Смутный запах затхлости и прели, всегда стоящий между стенами этой комнаты, еще более сгустился от прибавления вещей. С комода улыбается кукла, изъеденная молью, и над нагромождением тряпья, в основном, красного цвета, смотрит с портрета банкир Блум темным тяжелым взглядом.

– Что за беспорядок здесь, в комнате деда! – восклицает Ганс.

– Заходи, сын мой, заходи, – и слова «сын мой» соскальзывают с языка отца, как сами собой разумеющиеся.

Ганс переступает порог и останавливается перед портретом деда. Доктор стоит сзади, у письменного стола с мраморной чернильницей, в которой высохли чернила. И, кажется, тяжелые взгляды семейства Блум обращены со всех сторон – со стороны деда, Ганса из своего угла, отца от письменного стола.

– Почему такой невероятный беспорядок в кабинете деда? Некому здесь убрать, отец?

– Беспорядок связан с тем, что я репатрируюсь в Израиль, страну праотцев, оставляю Германию навсегда.

– Я тебя благословляю, отец. И ты собираешься осуществить свою старую мечту?

– Да, да, новая жизнь, Ганс. Но что делать со всеми этими вещами, которые накопились в нашей семье с дней нашего предка, старика Ицика... Тут много твоих вещей, хранящихся в ящиках стола и шкафов.

– Ну, ты, естественно, возьмешь их с собой в Палестину.

– Не дай Бог, Ганс, какая глупость: брать рухлядь в новую жизнь?! Отныне мне следует стать легким в перемещениях и в душе. Куда я все это дену в новой стране? Где расставлю всю эту громоздкую и тяжелую мебель? В деревянном бараке, где, вероятно, буду проживать? Выхода нет. Вся эта рухлядь идет на продажу.

– Не дай Бог, отец! Все эти старые и красивые вещи, скопившиеся за много поколений отдать на публичную распродажу? Как это, отец?

– Ну, а что мне с ними делать, Ганс?

– Просто храни их, отец. Сними склад до...

– До каких пор, сын?

– Пока тыстроишь себе дом в новой стране. День этот придет.

– Отлично, – мямлит доктор, – иди сюда.

Сын лавирует между грудями вещей, становится рядом с отцом, кладет руку на стол.

– Ганс, – говорит доктор, – итак, ты полагаешь, что мне надо снять склад для всех наших вещей? Здесь – в Германии?

– Нет. Никто не знает, что родит завтрашний день.

– Если так, бери все с собой. Семейное имущество перейдет к тебе, в Копенгаген.

– Но, отец...

– Это понятно, Ганс. Ведь ты же законный наследник. Придет день, и ты откроешь двери склада, извлечешь оттуда всю рухлядь. В них возникнет необходимость, когда тыстроишь свой дом.

– Придет день, отец. Закончу учебу, найду свое место в этой жизни. И тогда, конечно же, захочу построить свой дом. И с твоего разрешения, отец, возьму часть этих вещей.

– Где же тыстроишь свой дом, сын?

– В любом месте, отец, где может такой, как я, жить свободной и достойной жизнью.
– Ганс, – говорит доктор, – за это следует выпить.

Тянет сына к комоду. Запах отличного вина ударяет им в ноздри.

– Вот, Ганс, – доктор подносит бутылку к слабому свету лампочки, – еще дед обращал внимание на эту бутылку. – Быстро направляется в угол, к стеклянному шкафу, полному старого фарфора и хрусталя, достает два хрустальных бокала.

– За жизнь, сын мой, за будущую нашу встречу.

– За новую жизнь, отец! – сын поднимает взгляд к портрету деда.

– Это он внес путаницу в твою жизнь, Ганс. Когда ты родился, я был еще слишком погружен в мечту: хотел, чтобы ты был во всем похож на твою мать. Дед же требовал совершить обрезание, и тем связать тебя союзом с нашим праотцем Авраамом.

– Отец, я никогда об этом не жалел, – торопится ответить сын.

Долгий звонок отдается эхом по всей квартире, они испуганно ставят бокалы на комод.

– Барбара! – говорит доктор.

– Нет, отец, это извозчик. Я заказал его. – Ганс намеревается пойти к двери, но останавливается на миг и передает отцу записку:

– У меня к тебе еще одна просьба, отец. Речь о моем друге Дики. Дело связано с его прусскими родственниками Каллами, и не дает ему покоя. Он хочет знать, каковы они в настоящем смутном времени. Пожалуйста, отец, поезжай к ним, передай привет от Дики. Если тебе станет ясно, что они все еще хранят семейные традиции, напиши нам. Если нет, то, как говорится, на нет и суда нет.

«Майор фон Калл», прочитывает отец записку, прячет в карман своего пиджака, и тяжелыми медленными шагами провожает торопящегося сына.

– До свидания, отец.

Извозчик у открытых дверей переминается с ноги на ногу. Сильный холод врывается в квартиру.

– Мы не оставим друг друга в одиночестве, Ганс.

– Нет, отец.

Доктор целует сына в лоб. Лицо Ганса краснеет. Дверь быстро захлопывается, словно бы сын пытается сбежать от чувств, охвативших его. Доктор торопится к окну. Одинокая карета движется по Аллее между трамваев и полицейских машин, исчезает в Бранденбургских воротах. Доктор не отрывает взгляда от опустевшей улицы и до того погружен в себя, что не слышит, как Барбара вошла в гостиную. Так как в комнатах горел свет, и двери были распахнуты, она поняла, что здесь что-то произошло. Тотчас подняла голову и принялась к воздуху гостиной.

– Кто-то здесь был, доктор? Не ваша ли девица?

– Никого здесь не было, – нет у доктора сил – рассказывать Барбаре о Гансе и выслушивать ее вопросы. – Никого здесь не было, Барбара.

– Доктор, – восклицает Барбара, – кто оторвал листки от календаря?

– Кто? – спрашивает доктор, сам удивляясь тому, что она обнаружила.

Второе октября исчезло, и ноябрь-месяц, как и положено, светится на календаре. Барбара ищет под столом в урне оторванные листки.

– Был бы это кто-то во плоти, – поднимается она, – он бросил бы сюда листки, не так ли, доктор? Но листков нет. Это он! Он был у вас, доктор?

– Был, Барбара, был, – пытается от нее отвязаться доктор и остаться наедине со своими мыслями. Но Барбара не отстает.

– Дверь в комнату старого господина открыта, доктор, – она торопится туда, доктор – за ней. Она останавливается у комода, лицо ее сияет, она указывает на бокалы.

– И вы еще говорите, доктор, что здесь никого не было?

– Ничего я не говорю, Барбара, но следовало бы навести порядок в комнате, – сухим тоном говорит доктор, – кому нужен такой беспорядок? – И торопливо уходит.

Барбара подходит к окну и молитвенно складывает руки. Из окна свет падает во двор, и световом столбе туманятся от холода деревья и едва различимые предметы.

– Он приходил, – бормочет старуха, – он приходил, чтобы нас спасти. Отвести от трагедии. Их столько, этих трагедий. Кто знает, что день грядущий нам готовит?

Барбара смотрит на портрет старого господина. Его тяжелый взгляд печально обращен на старуху.

Глава вторая

Вороны кричат в пустынном саду. Качаются на ветвях, напротив окна. Карканье их все более хрипло. И дерево стучит ветвью в стекла, словно пытается внести стужу и карканье в теплую комнату. Издалека, в просвет снежных туч проглядывает луна, и каштаны вдоль аллеи чернеют, подобно рельефным гравюрам собственных теней. В своем движении облака влекут с собой световую вуаль, и гуща деревьев смешивается с ночным небом. Тьма окутывает небеса и землю, гонит летящие в окно влажные комья бесконечного снегопада.

Тонкие клубы дыма закручиваются кольцами от сигареты Эдит на фоне плачущего оконного стекла. Лицо Эдит обращено к саду, спина – к семье, сидящей в комнате. Траур плохо сочетается с ее изящным, светлым обликом, словно пытаюсь наказать ее, запечатав ее грешную красоту.

– Он идет? – обращается Фрида к ее молчаливой спине.

– Ничего нельзя различить в темноте, Фрида, – лицо Эдит прижимается к стеклу.

– Гейнц, – восклицает Фрида в отчаянии, – он не приходит!

– Придет, – спокойным голосом отвечает Гейнц, только нога его раскачивается, показывая, что голос не соответствует состоянию его души.

Гейнц устроился в кресле около камина, освещаемого красными свечами. Свечи эти поставили кудрявые девицы для украшения комнаты. Камин горит но не дает тепла. Над камином, рядом с портретом покойной госпожи Леви, теперь висит портрет покойного господина Леви. Портрет нарисовал художник Шпац из Нюрнберга по памяти и по фотографии, которую сделал фотограф в день рождения Бумбы. Это был последний праздник, в котором участвовал господин Леви. Если бы дано было господину Леви оценить свой портрет в золотой раме, он бы, несомненно, сказал: «Слишком хорош».

Под этим, воистину совершенным портретом отца сидит Гейнц, и покачивание его ноги свидетельствует о тяжких колебаниях: Эрвин упрямил его прийти вечером на собрание в память Хейни сына-Огня. Сегодня исполнилось два года со дня его гибели. Город погружен в снега и стужу. Большая забастовка работников транспорта создает тревожную атмосферу. В совместной забастовке нацисты и коммунисты борются против профсоюзов, которые запретили эту забастовку. Такой день не обходится без жертв. Участие в собрании, на котором выступит с речью Эрвин, уже само по себе таит смертельную опасность. Врагов у Эрвина множество. Гейнц вздыхает, не стоит выходить на улицы в этот вечер! Огромная ответственность лежит на нем. Он теперь глава семьи.

– Иоанна, – решительным окриком ставит Гейнц предел своим колебаниям, – немедленно убери ноги с кресла, как это тебе пришло в голову – так сидеть в обществе!

Иоанна краснеет. Она сидит в кресле, обтянутом цветным шелком около центрального отопления, положив ноги на кресло, чтобы юбка прикрыла ее обнаженные, посиневшие и больные колени. Только недавно она вернулась из клуба Движения. Из-за забастовки встречи в клубе происходят в ранние послеполуденные часы, сразу же после окончания учебы в школе. Длинный путь проделала Иоанна на велосипеде Саула по снегу, на ветру и стуже. Замерзшая, она свернулась клубком в мягком кресле, но колени поторопилась прикрыть не из-за холода, а из-за Фриды. Утром Фрида зашла к ней в комнату, принесла ей пару длинных шерстяных носок, и не сводила с нее глаз, пока та не натянула эти ужасные носки на ноги. Иоанна, конечно же, оставила эти носки у входной двери, и надела обычные, оставляющие колени открытыми, как у любого скаута, не боящегося мороза и снега. Но страх перед Фридой велик. Она опускает голову к коленям и делает вид, что ничего не слышит. Но со стороны камина опять доносится столь строгий голос, что даже пес Эсперанто, лежащий у ног Гейнца, поднимает голову от удивления.

– Иоанна, ты что, не слышишь, что я говорю?

Эдит у окна вскидывает голову и резко поворачивает лицо внутрь комнаты:

– Гейнц, оставь ее в покое. Иоанна может сидеть здесь так, как ей захочется.

Голос ее необычно резок. Да и лицо ее необычно. Резкий голос явно идет вразрез с мягкостью и печалью на нежном ее лице.

– Как ей захочется? Не всегда хорошо вести себя по собственному желанию.

Несмотря на то, что слова Гейнца произнесены несколько шутливо, и скорее направлены к Эдит, а не к Иоанне, все ощущают скрытое напряжение, которое в последние месяцы чувствуется между ними. Они постоянно спорят о поведении, привычках, воспитании детей. Гейнц превратился в строгого педанта во всем этом и навязывает свой режим всем. Только Эдит оспаривает его, становящуюся невыносимой, категоричность. И они столько спорят, что все уже стали равнодушными к этим препирательствам. После того, как все подняли головы на миг, они возвращаются к своим занятиям, и только попугай продолжает участвовать в диалоге между Эдит и Гейнцем громкими криками:

– Госпожа, я несчастен! Госпожа, я несчастен!

– Бумба, – говорит Эдит нервным голосом, – накрой его клетку, чтобы он уже заснул, этот крикун. Невозможно выдержать его крики каждый вечер.

Она спиной продолжает чувствовать пронзительный взгляд Гейнца. Этот изучающий взгляд преследует ее в последние месяцы, вместе с тайным голосом в душе. Эти взгляды Гейнца, как бы выслеживающие ее тайну, – настоящую причину напряжения между ними.

Впервые остановился на ней этот пристальный изучающий взгляд в то жаркое лето. Окна были распахнуты, и ароматы сада проникали в комнату. В кабинете господина Леви собрались друзья. Это уже стало новым обычаем в доме Лев: один раз в месяц собирались в кабинете покойного его друга, почтить его память мудрыми беседами. Приходили Александр, доктор Гейзе, священник Фридрих Лихт, семейный врач доктор Вольф и, конечно же, Филипп. И Эрвин, который решил работать литейщиком на фабрике «Леви и сын» и часто сопровождал Гейнца. В тот день все были взволнованы, голоса звучали тревожно и громко»

– Как это случилось? Как это могло случиться? – кричал тишайший доктор Гейзе. – Как это смогли канцлер Фон-Папен и его правительство баронов мановением руки убрать прусское социал-демократическое правительство, и канцлер стал единым и единственным правителем Пруссии!

– А как это могло случиться, – гремел Александр, травмированный еще более глубоко – что социал-демократическое правительство так постыдно сдалось? Если сейчас не создадут единый фронт прогрессивных сил, судьба наша предрешена.

Голос священника Фридрих Лихта был настолько округлым, что из этой велеречивости было понятно одно: нет большой надежды на такой фронт. Эрвин неожиданно встал и вышел. Никто не обратил на это внимания, ибо в то же время зазвонил телефон. Дядя Альфред из университетского городка на юге Германии беспокоился о родственниках в бушующей Пруссии.

Сразу все побежали к телефону – поговорить с Альфредом. Никто не обратил внимания на предостережение Филиппа:

– Будьте осторожны в разговорах. У телефонов в наши дни длинные уши.

– Это первый шаг к авторитарному режиму, – сказал доктор Гейзе.

Гейнц взял трубку, и после того, как выслушал слова дяди, неожиданно сказал, не отрывая взгляд от Эдит:

– Нет, дядя Альфред. Я не знаю точно, каково участие нашего друга Эмиля Рифке в этом деле... Естественно... Все доказательства канцлера фон-Папена это сплошная глупость. Что?.. Нет, дядя Альфред, Я не верю в верность нашего друга Эмиля республике. Что?.. Да, у нас все в порядке. Все здоровы. И Эдит. У нее отличное здоровье, – колючие глаза Гейнца впиваются в ее лицо.

Газета дрожит в ее руках. На странице красуется большой портрет офицера полиции Эмиля Рифке. Причиной отставки социал-демократического правительства Пруссии режимом рейхсканцлера, послужили крупные столкновения, вспыхнувшие в городе Альтона.

Нацисты организовали шествие в рабочем квартале. Все рабочие этого города – красные. Начались кровавые стычки, было много жертв. Беспорядки грозили распространиться по всей стране. Такие кровавые столкновения в Берлине – каждодневное дело, и граждане города вопят на всех перекрестках, требуя наведения порядка в государстве. Канцлер фон-Папен обвинил прусское правительство в том, что оно не в силах навести законный порядок... Более того, в его руках факты, что само правительство связано с коммунистами и провоцирует их к беспорядкам, чтобы нанести поражение нацистам. Из Берлина в Альтону послан офицер полиции, и он замешан в этих беспорядках. Офицер схвачен, заключен в тюрьму и предан суду... – газета дрожит в руках Эдит.

– У меня болит голова, – говорит она хриплым голосом и встает с места, – пойду принять таблетку.

Она чувствует пронзительный взгляд Гейнца, упирающийся ей в спину и сопровождающий ее до двери. Она бежит в сад. Там, на скамье сидит Эрвин, опустив голову.

– Ты здесь? – вскрикивает она удивленно. Между ней и Эрвином отношения всегда были прохладными, несмотря на то, что она знала его еще подростком. Эрвин был единственным в ее окружении, кто никогда не обращал на нее внимания. В глубине души она не прощала ему его демонстративное равнодушие, и чувствовала себя даже существом низшего сорта в его присутствии, как женщина, очарования которой не оценивают. Вот и сейчас он бросил на нее короткий взгляд и сказал, как бы отстраняясь от нее:

– Сегодня душно. Я вышел подышать немного чистым воздухом.

Она побежала и спряталась в гуще кустов белых роз. Она спрятала лицо в лепестки, пытаясь успокоить в этом аромате душевную бурю. Что ей сейчас делать? Она знает правду. Эмиль не действовал от имени республики. Она знает, кто его послал, но поклялась ему хранить тайну. Губы ее сжаты. Не только из-за клятвы...

Эдит сорвала белую розу и растоптала ее ногами. Боже... Стояло лето. Прекрасное лето. Дни затягивали сиянием своим даже траур по отцу. Филипп всегда на ее стороне. Все видят в нем главу семьи. Но офицер полиции Эмиль Рифке не дает оттолкнуть себя в сторону. От него приходят письма, бесконечные телефонные звонки... Она отбивается, восстает. Не отвечает на письма, не берет в руки телефонную трубку, но в душе ее тоска по нему, чувственный кошмар, который хуже во много раз реальной встречи, кошмар, затягивающий ее в пугающие бездны воображения. Сидя с семьей за столом, она захлебывается, забывает ложку, отталкивает тарелку и не отрывается от сигареты. Окружающие беспокоятся, принимая все это за переживания и глубокую тоску по отцу, которая не оставляет ее. А она чувствует себя порочной, продажной, Эмиль исковеркал всю ее жизнь, и это невозможно исправить, завлек ее в свои сатанинские игры. Почему бы ей не раскрыть его карты? Он ей отвратителен, но именно этим отвращением она привязана к нему еще сильнее. Лето было, как сплошной кошмар, пылающий у нее в крови. Имя Эмиля не сходило со страниц газет. Борьба между коммунистами и социал-демократами велась из-за дела Эмиля. Коммунисты предъявляли доказательства, что офицер действовал от имени их противников, социал-демократы, наоборот, считали, что он поддерживал коммунистов. Из-за этой сильнейшей вражды, и бесконечных обвинений, которые они выносили на страницы газет, не возникало подозрение, что есть еще третья сторона, во имя которой офицер может действовать. Эмиль сидит в тюрьме, и суд откладывается с месяца на месяц. Эдит, которая раньше никогда не брала в руки газет, стала прилежной читательницей прессы всех направлений. Может, он действительно принадлежит к одной из рабочих партий? Может, сменил мировоззрение и стал коммунистом... как Эрвин, который там свой в доску. Поймала себя на том, что смотрит на него, и равнодушие ее исчезло. Эрвин, тоже немец, как

Эмиль, но не нацист, вызывал надежду в ее душе. Может быть, и Эмиль больше не нацист? И тогда... еще все можно исправить.

Гейнц не спускал с нее своего острого вопросительного взгляда. Все лето ни о чем ее не спрашивал. И вообще никто к ней не обращался с вопросами. Имя Рифке старались при ней не упоминать, обходясь с ней с особой осторожностью. Черные ее одежды, бледное лицо, хрупкий облик, отгородили ее чертой, за которую никто не решался переступить. Даже Гейнц. Прошло несколько месяцев после смерти отца, и дом воспрянул к новой жизни. Дед вернулся к прежней энергичной деятельности. Но у каждого остались угрызения совести за то, что они так быстро оправились от траура в суматохе повседневности. Эдит, единственная, сохранила в своем хрупком облике общую скорбь. И, казалось, все хотели продолжать ее видеть такой, хранить этот ее траурный облик в своих душах, чтобы успокоить свою совесть. ореол святой реял вокруг нее, и она осталась одинокой в своих размышлениях и колебаниях. Только сердце ее терзалось беззвучным воплем:

– Ложь! Я лгу вам всем! Никто из вас не чувствует, насколько я лжива!

Эдит рассеивает облачка дыма своей длинной сигареты. Глаза Гейнца уткнулись ей в спину. Она хотела раскрыть ему свою тайну и облегчить свою душу ответив его вопрошающему взгляду, что лелеет надежду: Эмиль больше не нацист.

Наступил такой день, воскресенье, жаркое и сияющее. Город был полон гуляющей публикой. Вся семья разбежалась. Дед взял с собой Фриду – покатать на судне по одному из озер вблизи Берлина. Не хотел оставить Эдит одну в доме, и заставил ее отправиться на прогулку с Филиппом. Они сидели в ее автомобиле. Она сняла на один день траур и надела светлое летнее платье. Поехали в один из лесов, недалеко от города, и добрались до небольшого озера, глубокие зеленые воды которого прозрачны и покрыты водяными лилиями. Филипп попросил остановить машину. Он был очень взволнован и почти силой потянул ее на траву у берега озера. Над ними распростер ветви платан, и птицы прыгали с ветки на ветку. Отражение ее возникло на прозрачной поверхности между водяными лилиями, Филипп обнял ее и прошептал:

– Гляди на свое отражение, Эдит. Какая же ты красивая! Как водяная принцесса, возникшая из глубины вод.

Она была утомлена. Страсть Филиппа явно облегчала боль ее души. Горячность его губ снимала эту боль. Она разрешила ему делать с ней все по собственному его желанию, и в его объятиях раскрыла свою тайну.

– Я хочу с тобой поговорить об Эмиле.

Он прикрыл рукой ее рот и сказал, счастливо смеясь:

– Оставь это, Эдит. Все, что касается Эмиля, не имеет больше для меня значения.

Она замолчала, вскочила на ноги, сказала угрюмо:

– Возвращаемся домой. Я устала.

Он полагал, что ее мучает совесть, и она все еще глубоко погружена в траур. Он проводил ее до машины с осторожностью и деликатностью, которая была ей ненавистна. Вернулась домой и продолжила облачаться в черное. Мысль захватила ее, как лихорадочное безумие: только один человек в силах одним махом избавить ее от угрызений совести – и это сам Эмиль. Вполне возможно, что все было излишне, все ее страдания, Эмиль больше не нацист. Его положительный ответ – ее единственная надежда... Тотчас же написала начальнику тюрьмы просьбу – встретиться с офицером полиции Эмилем Рифке. Пришло разрешение. В ближайшее воскресенье перед ней раскроются ворота тюрьмы.

Эдит прижимает лоб к холодному оконному стеклу. Птицы в темноте все еще порхают с ветки на ветку, и голос Фриды доносится из-за спины:

– Где может быть дед в такую ужасную ночь?

Теперь все поднимают головы. Зоркие глаза Гейнца выделяются среди других глаза. Семья собралась на ужин. Стол накрыт, запахи жареного мяса заполняют дом, а деда нет. Ушел из дома сразу после полудня и еще не вернулся. Фрида посреди комнаты ломает пальцы:

– Где он может быть? Верно, где-то застрял по дороге.

– Не может быть такого? – сухо отвечает Гейнец. – Дед никогда не застрянет. Он всегда найдет путь, чтобы вернуться домой.

– Глупости! – возражает ему Фрида. – Как он доберется домой, если даже хотя бы один несчастный трамвай не доходит сюда. Гейнец, встань сейчас же, и поезжай привезти деда.

– Откуда я его привезу? – защищается от нее Гейнец.

– Не уваливай, Гейнец. Не делай вид, что ты не знаешь, где дед. Конечно же, в кафе «Канцлер» на Унтер-ден-Линден. Езжай за ним немедленно.

– Я поеду и привезу деда, Фрида, – Эдит гасит сигарету, и лицо ее тревожно. Но не успела Фрида договорить, как дед входит в комнату. Как всегда – внезапно. Посреди всей этой суматохи вокруг его исчезновения, никто не почувствовал его появления. С любовью щиплет дед щеку любимой внучки, которая собиралась его спасать, и весело смотрит в испуганные лица. Дед вернулся чтобы снова быть самим собой, спина его выпрямилась. Огромные усы ухожены, и кончики их завиты, волосок к волоску, темный костюм безупречен, линиями на брюках можно похвастаться. Только цветка нет. С момента смерти сына, цветок не красуется в петлице пиджака. Лицо его сияет и глаза тепло смотрят на членов семьи. С лица Фриды исчезли следы паники и страха, и она уже собирается сказать ему несколько «теплых» слов, но дед ее опережает.

– Дети, есть новость! Великая новость!

Дед выпрямляется, хлопает по карману своего костюма, словно эта новость упрятана в нагрудном кармане, и обводит всех гордым взглядом. Все его окружают, но дед не торопится. Терпеливо ожидает, пока глаза всех, полные невероятного любопытства, не сосредоточиваются на нем, – и тогда дед возвышает голос:

– Но, дети, как же вы забыли старого садовника, повариху Эмми и Кетхен? Разве они не достойны быть здесь, среди нас в час великой новости?

Дед получает огромное удовольствие от волнения окружающих. Тотчас приводят отсутствующих садовника, Эмми и Кетхен. И когда все теснятся вокруг деда, он закручивает усы, выпрямляет спину, разглаживает костюм, откашливается, и после всех этих приготовлений, торжественно провозглашает:

– Дорогие мои, сегодня я выиграл в лотерею!

Голоса радости и удивления, раздающиеся вокруг – именно то, чего дед ожидал. Он раз за разом выпрямляет спину, хлопает каждого по щеке, целует. Все смеются, только Гейнец, словно ножом, отсекает всю эту радость:

– Что же ты выиграл, дед?

Вначале дед одаряет внука внимательным взглядом, и только затем говорит, тщательно подбирая слова:

– Дорогой внук, у тебя душа купца, но ощущения величия нет в ней! Главное не в сумме, а в выигрыше. Именно, в нем. Разве в сумме дело? Нет, что ли, у меня денег в кошеле? – волнение деда усиливается. И все смотрят на него с удивлением. Только лицо Гейнца спокойно, а дед кричит. – Ну и что, если выигрыш не самый большой? Я спрашиваю тебя! Если я выиграл только тысячу марок, а не сто тысяч? Так что? – гремит дед. – Главное, это сам выигрыш!

И он обращается к Фриде приказным тоном:

– Фрида, вино на стол, из самых лучших вин. Сегодня мы поднимем тост в честь великого выигрыша!

В первый раз за много месяцев выставлены были на стол лучшие вина из коллекции деда. Все поднимают бокалы, кроме Иоанны: в Движении категорически запрещено пить вино. Всех

дед пригласил к столу, и старого садовника, и повариху Эмми, и даже Кетхен находит себе место между подачей блюд. И трапеза становится действительно праздничной.

В отношении застолий, в семье Леви произошли большие изменения, несмотря на то, что стараются придерживаться семейных традиций. У покойного господина Леви были свои принципы даже в подборе блюд, подаваемых к столу. Блюда его отличались незатейливостью, и не изобилием, а скорее – ритуалом. Не такими были принципы деда. Его застолья были избыточными во все времена. Но не для услаждения едой приказал дед Фриде изменить домашние традиции, а из-за Эдит. В последние месяцы, именно, она – в центре его забот. У нее бледное лицо, она исхудала, почти ничего не ест, купила длинный серебряный мундштук и курит столько, что кончики ее пальцев стали коричневыми. Даже семейный врач доктор Вольф обратил на нее внимание. Но, дед... о, дед в своем репертуаре, недолюбливает врачей и врачих. У него свой особый способ лечить людей. Стол в столовой всегда трещит от изобилия блюд, свет люстры в полную силу, дед заполняет пространство громким смехом и бесконечными байками. Дед снова поднимает бокал в сторону бледной внучки, которая единственной из всех сделала слабый глоток вина.

– Твое здоровье, детка! – И добавляет с огорчением. – Жаль, детка, нет с нами Филиппа.

Филипп постоянный участник трапез в доме Леви. Всегда рядом с Эдит. Но со дня, когда грянула большая забастовка транспортников, Филипп отсутствует за ужином в доме Леви. Нарушая традицию, которую свято чтут все домочадцы.

– Ле Хаим! За жизнь! – провозглашает дед, радуясь тому, что Эдит осушает целый бокал при упоминании имени Филиппа. – В честь большого выигрыша!

Кетхен приносит золотистый бульон, дед во главе стола наливает его членам семьи, относясь к этой церемонии со всей серьезностью.

– Сегодняшний выигрыш в лотерею я не растрочу впустую, это деньги удачи, подожду подходящего дела, во что их вложить.

– Дед, – радостно восклицает Иоанна, – дай эти деньги в Фонд существования Израиля. Это – достойное дело.

– Что детка? Что ты сказала? Кому?

– Фонду существования Израиля, дед. Фонд этот покупает земли в стране, можно там посадить деревья от твоего имени, даже тысячу деревьев...

Но не дано внучке убедить деда.

– Иоанна, – начинается шум и суматоха вокруг стола, – ты снова за свое!

И даже дед осуждающе качает головой в сторону внучки, несмотря на то, что в последние месяцы его отношения с внучкой неплохи. Более того, Иоанна часто посещает деда в его комнате, когда у нее свободное время, ибо она обычно очень занята. Новый обычай завел дед в последнее время, несмотря на то, что не изменил старым своим привычкам. Но после смерти сына, его любимым занятием стали рассказы о прошлом многочисленной семьи. Иоанна любит слушать эти длинные рассказы, и никогда не надо его подстегивать. Если рядом сидит внук, тотчас же у деда готов рассказ. Дед решительным тоном говорит Иоанне:

– Нет, детка, невозможно вкладывать деньги в деревья. Я не похож на дядю Луи Виша! – И дед принимается за блюдо с жареными голубями, которое ему придвинула Кетхен на огромном фарфоровом подносе.

– Дед! – с удивлением восклицает Иоанна. – В нашей семье был дядя, который дал деньги Израилю, покупал там земли и сажал деревья? В нашей семье был такой дядя?

– Что ты, Иоанна, – искренне смеется дед, – никогда у нас не было такого дяди. Ничего более далекого от дяди Луи Виша не было, чем покупка земель в Палестине.

– Кто это дядя Луи Виш, дед? – пробуждается любопытство у Гейнца.

– Вам никогда не рассказывали о дяде Луи Више? – дед швыряет кость псу Эсперанто, лежащему у его ног и не отрывающего от него взгляда. – Честно говоря, нет ничего странного в

том, что вы о нем ничего не знаете. Его не очень привечали в семье, где он выступал в качестве мужа тети Теклы.

Дед замолкает, не отрывая взгляда от бледной внучки. Эдит не прислушивается к его словам. Глаза ее обращены к темным стеклам окна, поверх праздничного стола, в охваченный зимней бурей сад. Быстрым движением, чтобы она не заметила, подкладывает в ее тарелку дед добавку – жареных голубей.

– Дед, – глаза Гейнца тоже не отрываются от Эдит, и он старается отвлечь от нее внимание деда, – кто это тетя Текла?

В последнее время Гейнец стал въедливым, стараясь выяснить любой вопрос до конца.

– Что тебя так интересует? Вы ничего не знаете о тете Текле? Молодые члены семьи ничего не знают о стариках, – дед грустно качает головой и кладет руку на плечо Эдит.

– Что-то неладное, дед? – Эдит поворачивается к деду.

– Неладно то, что вы ничего не знаете о тете Текле, детка. Она ведь была сестрой моей покойной матери. Точно так же, как моя мать, она сидела на кончике стула, и держала флакон духов в кошельке, расшитом жемчугами, и точно, как моя мать, прижимала к носу этот флакон, когда я входил в комнату, и они в один голос восклицали: «Ах, Яков! Яков!» И вправду не знаю, чем им был неприятен запах моей одежды.

– Я знаю, дед, я знаю! – встречает Бумба в рассказ деда. – Из-за ножки ворона, которую ты привязывал к шее.

– Что, мальчик? Что? Не мешай. – Дед столь часто рассказывает детям байки, что после этого не помнит вообще, о чем говорил.

– Дед, не отнекивайся, – повышает голос Бумба, – ты привязал к шее ножку ворона, чтобы быть хладнокровным и жестоким, как вороны.

Лишь Бумба напоминает о воронах, взгляд Эдит возвращается к окну.

– Только тетя Текла была слегка, – старается дед громким голосом вернуть к себе общее внимание, как его прерывает Фрида укором:

– Уважаемый господин, что вы рассказываете ребенку! Завтра он сделает то же самое!

– Я не дурак! – тоже громко говорит Бумба.

За столом суета, каждому есть что сказать, все громко говорят наперебой. Покойный господин Леви только одним своим видом мог успокоить своих разбушевавшихся деток. Никто не осмеливался повышать голос в его присутствии, тем более, во время трапезы. Дед, сидящий во главе стола, старается перекричать всех. Он собирается продолжить свой рассказ, и заставляет всех остальных замолчать:

– Тетя Текла была немного сгорбленной, дети, – говорит дед и ударяет ладонью по столу, так, что подпрыгивают, позванивая, тарелки. Со стены, из золотой рамы, строго смотрит господин Леви на своих детей, и голос деда возвращается к прежнему приятному тону:

– Тетя Текла была немного горбатой, и потому ее решили выдать замуж за дядю Луи, который, в общем-то, не был принят в семье, потому что был родом из города Равенсбрюка, детки, – поправляет дед сам себя.

– Ну и что с того, что он из Равенсбрюка, дед?

– С чего, дорогой мой внук? – качает дед головой, удивляясь невежеству внука. – Не знаешь? Равенсбрюк был городом нищих, у которых ни кола, ни двора, городом ремесленников. Занимались евреи Равенсбрюка, вышиванием золотом и серебром одежд аристократов. Семья дяди Луи тоже занималась вышиванием. У них ничего не было, абсолютно ничего. Когда одежды с вышивкой вышли из моды, семья осталась вообще без дела. Потому-то и взял дядя Луи в жены тетю Теклу, ибо, не блистая красотой, она блистала избытком богатства. Тетя Текла этого ему не простила...

– Конечно же, нет – вскакивает Инга, обрывая деда. Она недавно вступила в организацию по охране прав женщин, и не пропускает ни единой возможности бороться с нарушением этих

прав. – Дед! Как может жена простить мужу, который взял ее в жены из-за ее богатства. Мерзость, и все тут! – Кудрявая ее головка поворачивается к Иоанне, тотчас же взявшей ее сторону:

– Конечно, дед! В буржуазном мире даже любовь на продажу...

И опять все в один голос начинают кричать:

– Иоанна, прекрати! Перестань! Ты снова начинаешь, Иоанна!

Вот-вот вспыхнет новая ссора, но на этот раз деда одолевает смех. Он хохочет от всего сердца, обращаясь к Инге:

– Ох, детка. Эта мелочь вообще не была важна тете Текле. Вовсе не замужество и имущество служили причиной ее обвинений и прощений. Дяде Луи она не могла простить, что его семья прибыла в Германию из Польши спустя сто лет после правления великого принца Бранденбургского. Иоанна, детка моя, когда начался период власти великого принца?

– В тысяча шестьсот пятидесятом, дед, – сразу же ответила Иоанна – живой справочник семьи.

– Верно, детка, проверено, в 1650, – повторяет дед, как будто и сам знал дату, и только хотел проверить знание внучки, – в 1650 семья моей матери приехала сюда, вместе с восхождением к власти принца в Бранденбурге. Семья прожженных банкиров. Дочки во всех ее поколениях были настоящими принцессами, даже немного горбатая тетя Текла. Это не помешало ей перенести все ей принадлежащее – семье великого принца Бранденбургского. Нет, детки, тетя Текла так никогда и не простила дяде Луи столетнее опоздание его семьи с переездом в Германию, да еще в город Равенсбрюк! Брак оказался неудачным. Детей у них не было, и не только из-за горба тети Теклы.

– А из-за чего, дед? – поднял сверкающие от любопытства глаза Бумба.

– Из-за комнат, мальчик, не появились дети у тети Теклы и дяди Луи. Из-за комнат и французской речи. По предписанию семьи должна была тетя Текла переехать в город мужа – Равенсбрюк. В этом городе тетя построила роскошный особняк с огромными богато обставленными комнатами в стиле французского короля Луи. И только в конце дома была комната в стиле ее мужа Луи Виша. Туда тетя предпочитала не входить, а обретаться в огромных комнатах в стиле короля Луи и говорить на французском языке, который был тогда в моде. Но дядя Луи не знал ни одного слова по-французски. Поэтому их брак не удался, и не появились дети, просто не появились. Но, при всем при этом, успех не миновал дядю Луи: он выиграл в лотерею!

– В лотерею?! – воскликнули все.

– В лотерею, детки. Кетхен, подай кофе. Да, детки, – и, расслабившись, дед опирается спиной о спинку стула. – Дядя выиграл в лотерею и стал королем в апартаментах тети.

– Но почему тогда не появились дети? – упрямится Бумба.

– Мальчик, не мешай. Дети не появлялись, зато появлялись гости. Много гостей. И каждый поздравлял дядю Луи с большим выигрышем. И как почтенный муж, он принимал в стиле короля-тезки гостей, и чувствовал себя господином в доме тети. Но чувство это не было долгим. Не прошло и считанных дней, как дядя потерял все свои деньги.

– Как? – восклицают все с истинным огорчением. – Как, дед?

– Потерял на деревьях, детки. На деревьях. – Когда дед рассказывает, жив лишь сам рассказ, и ничего более. И потому никто не чувствует, лишь Иоанна, что его паузы таят испуг. И все же дед продолжает. – Жил в Равенсбрюке человек, детки, большой богач по имени Мендель Гирш...

– Он был сионистом, дед, – не успокаивается Иоанна.

– Ну, прекрати, Иоанна! – обрывают ее.

– Он торговал деревом, детка, и соблазнил дядю Луи попытать удачу в этой торговле. Лес был вблизи города. Дядя купил его, чтобы затем продать деревья Менделю Гиршу. Это обещало колоссальные прибыли, но тут пришла зима, невероятно суровая, дороги стали непрохо-

димыми, и лесоповал оказался невозможным. Когда наконец пришло лето, грянул пожар, сжег все деревья, и от всего большого выигрыша осталась лишь выжженная земля.

– Ах! – раздаётся над столом общий вздох огорчения.

– Ах! – вздыхает дед, глядя на черноглазую внучку. – Нет, Иоанна, не похож я на дядю Луи, и нельзя вкладывать деньги в деревья и в земли, а...

– А что? – спрашивает Гейнц в качестве бизнесмена.

Но дед не торопится с ответом, держит бутылку. Поднимает бокал и торжественно возглашает:

– Эти деньги – на счастье и предназначены первому правнуку. В момент его рождения я открываю счет в банке на его имя и кладу на его имя эти деньги. Твое здоровье, Эдит, детка моя, твоё здоровье! – Откашливается и покручивает усы.

– Твое здоровье, дед! – очень тихо говорит Эдит.

Столовая сверкает. Кетхен подает фрукты, и, кажется, стол благоухает всеми ароматами сада, покой умиротворения нисходит на всех. Щелканье орехов и звук посуды, которую, стараясь не нарушить тишины, убирает Кетхен, единственно нарушают ощущение сытости. Буря и снегопад за окнами только усиливают тепло внутри. Дед угостил старого садовника и Гейнца толстыми сигарами, и ароматные клубы дыма овевают головы присутствующих. Гейнц погружен в курение сигары. Потому не следит за тем, как неподобающе сидит Иоанна: локти на столе, подбородок – в ладонях. Только все быстро схватывающие глаза деда следят за мрачным лицом внучки, а дед не терпит угрюмости у праздничного стола, особенно в день большого выигрыша в лотерею.

– Ну, детка, есть проблемы? – обращается он к ней.

– Есть, – отвечает внучка.

В последнее время именно таков стиль разговора между дедом и Иоанной. Лицо ее очень часто угрюмо, и на вопрос деда о причине такой мрачности, она односложно отвечает: «Есть проблемы, дед».

– Что за проблемы, хочу я знать, детка.

– Есть у нас проблемы, дед, – увिलивает Иоанна.

– У нас?

– У нас в подразделении.

– Какие?

– Есть спор, дед.

– Спор о чем?

– О песне.

– О песне? Интересно.

– Песня начинается словами: «Здесь, в стране, влекущей праотцев».

– Хм-м, – втягивает дед с удовольствием дым сигары.

– Дед! – вскрикивает Иоанна. – Мы не можем петь в Германии: «Здесь, в стране, влекущей праотцев, исполнятся наши надежды».

– Почему нет?

– Дед! – повышает голос Иоанна, и лицо краснеет до корней волос. – Дед, петь в Германии – «Здесь, в стране...» Петь надо: «Там, в стране...» – Ответ ее исчезает в общем шуме, но раз Иоанна открыла эту тему, она должна довести ее до конца. Вопрос о песне очень важен.

– Довольно, Иоанна, хватит. – Члены семьи пытаются участвовать в диспуте. И даже дед, который, по сути, потянул ее за язык, гладит шею пса Эсперанто и отвечает, наслаждаясь покоем:

– Ого! Проблемы, проблемы, – и подмигивает налево и направо. Шутливое выражение его лицо настолько ясно, что все прыскают от смеха. Иоанна выходит из себя.

– Довольно! Вы все мне надоели! Так или иначе, еще немного, и я уезжаю отсюда. Через три недели ханукальные каникулы. Слава Богу, что я буду в Польше, у деда и бабки. Вы надоели мне. – И она убегает из комнаты прежде, чем кто-то попытается ее задержать. Только Бумба не успокаивается. Он с большим уважением, и даже любовью, относится к этим раздорам с Иоанной, и добавляет соли в рану, стоя у дверей:

– Она уезжает в Кротошин. Что там есть, в этом Кротошине? Город в конце света. Я еду на каникулы с дедом на его усадьбу. Правда, дед?

– Иисусе! – вскакивает Фрида со стула, приложив ладони ко лбу. – Уважаемый господин, как это вылетело у меня из головы! Для вас письмо.

Фрида убегает и возвращается. И вот, письмо в руках деда. И так, как он тут же его вскрывает, спрашивает торопливо:

– От кого оно, уважаемый господин?

– Ничего! – легкое облачко прошло по лицу деда и исчезло за огромными его усами. – Агата спрашивает, приеду ли я в этот год в усадьбу праздновать с ней Рождество. Верно-верно, – бормочет дед. – Это скоро. 1932 год приближается к концу.

– Мы поедем, дед. Поедем, да? – радуется Бумба в конце стола.

– Посмотрим, – отвечает дед, не Бумбе, а кому-то со стороны, невидимого глазу, от вопросов которого дед явно не в духе.

– Что еще пишет Агата, уважаемый господин? – спрашивает Фрида.

– Ничего, – опять же отвечает дед, но все замечают, что он говорит не всю правду.

– Проблемы на усадьбе, дед? – спрашивает Гейнц без обиняков.

– Да, – отвечает дед, не пропуская возможности строго взглянуть на внука, повышает голос. – Ну, а если есть проблемы, дорогой мой внук, так что? Нет путей в этом мире, чтобы их преодолеть? – И встает из-за стола.

Ужин закончен. Дед приглашает всех к себе в комнату, к простым будничным радостям. Когда у деда хорошее настроение, нет ничего приятнее, чем побыть в его компании. А сегодня настроение у него отличное! Сегодня день большого выигрыша, и ничто не может испортить ему настроение.

– Детка моя, идем с нами, – дед кладет руку на плечо Эдит.

– Нет, нет, – подрагивают плечи внучки, – надо навести порядок в столовой. Я подойду позже. Может быть, позже.

Дед вздыхает и уходит.

В последние месяцы Эдит занимается домашними делами, не терпит запущенности и беспорядка. Весь день нервно ходит по комнатам, ищет грязные углы и гоняет служанок. Дом Леви вымыт и вычищен в последние месяцы, каким раньше никогда не был, и даже Фрида удивляется ей:

– Нет лучшей домохозяйки, чем Эдит. Кто бы мог подумать! Она сильно изменилась.

Эдит гасит свет в столовой и выходит в гостиную. Из ниши ей улыбается Фортуна неизменной улыбкой. Жалюзи на стеклянной широкой двери, ведущей в сад, забыли опустить. Эдит пытается это сделать, но у нее не получается. Эдит стоит, замерев, рука на шнуре жалюзи. Сад пустынен. Снег беззвучно падает. Широкий сноп света освещает площадь, пролагая яркую тропу во тьме и освещая верхушки деревьев. Сноп света идет из огромного прожектора, освещающего флаг на крыше дома покойной принцессы. Это теперь клуб гитлеровской молодежи. Флаг освещается каждую ночь и виден далеко, как пламя, вспыхивающее на ветру. Лицо Эдит окаменело.

– Детка моя, где ты, – зовет дед с высоты ступенек, – я жду тебя, детка.

Глава третья

Фонарь раскачивается на ветру. Красный свет освещает черные буквы на большой вывеске: «Опасно! Строительная площадка!»

Скамейки, которая здесь стояла, давно уже нет. Однажды, летним днем, пришли сюда рабочие и убрали ее.

Вокруг лип поставили веревочную ограду. Миниатюрный травяной покров и узкие грядки цветов уничтожили. На их месте распростерлась гладкая бетонная поверхность с широкими ступенями, ведущими к квадратному пьедесталу. «Цветущий» Густав, который все лето возил сюда на тележке черную землю, поглядывал за происходящей здесь лихорадочной деятельностью, двигал ушами, подбрасывал шапку и бормотал про себя: «Густав, друг мой, если глаза твои видят верно, смущение графа не лишено основания».

Но пьедестал оставался пустым. Оттокар просто не успел водрузить на него Иоанна Вольфганга Гете. Зима оккупировал Берлин стужей и снежными бурями. Работы прекратились, и все покрыл снег.

– Уф! – говорит Эрвин, отирая лицо забинтованной рукой. Ветер швырнул в него влажный ворох снега. Облетевшие липы избиты ветром. Тонкие ветки их сгибаются под тяжестью снега. Над ними чернеют голые верхи деревьев. Посверкивающая белизна морозного покрова и чернота верхушек лип расхристаны бурей. Все голоса большого города затихли. Даже киоск Отто напротив лип закрыт на замок. Во время сильных морозов Отто перенес торговлю в коридор своего дома, в конце переуллка. Как покинутый ковчег, тонет киоск в снегах.

– Иди своей дорогой, – мать Хейни протягивает руку Эрвину. Она тяжело опирается на палку, с которой ходил на прогулку ее покойный муж. Платок небрежно висит на ее голове, и ветер раздувает черное пальто. Голос у нее хриплый и слабый. – Возвращайся домой, сын мой. Отсюда недалеко до моего дома. Напротив. – И она указывает палкой.

Большие, грубые хлопья снега летают там, вокруг газовых фонарей. Снег громоздится на тротуарах, по обе стороны улицы, до стен домов. Ветер взвизгивает снежные шапки на крышах. Стекла фонарей покрыты слоем льда, и почти не светят. Окна домов темны, и только трактир Флора посылает в ночь широкий сноп света. В тишине переуллка разносится пугающее завывание пса Ганса Папира. Старуха втыкает палку в снег и опирается на нее всей тяжестью тела.

– Доброго тебе пути, сын мой...

Длинный язык света коснулся лица Эрвина. На мгновение ярко осветило его пламя красного фонаря, и вновь погрузило во тьму.

– Ты в беде, сын мой, – старуха положила руку на воротник его пальто – беда тебя съедает.

– Съедает, мать, – улыбается Эрвин.

– В чем дело, сын мой?

– Оставьте. Еще мои беды вешать мне не вашу шею? Достаточно бед, и не стоит их увеличивать. Возвращайся в свой дом и к своей печи, мать.

– Оставим, сын, оставим. Даже без лишних слов все видно. Не знакомы ли мне признаки? – про себя бормочет старуха.

– Что вы сказали? Какие признаки? Трудно услышать из-за ветра.

– Да, признаки. Дело нелегкое, и не сейчас время о нем говорить.

– Если так, разойдемся, каждый своей дорогой, – Эрвин берет велосипед, прислоненный к веревочной ограде.

– Успеха тебе, сын. Большое спасибо, что проводил меня, и за прекрасные слова, сказанные тобой сегодня вечером на собрании. Откуда у тебя было столько добрых слов о моем сыне, ты ведь с ним вообще не был знаком? – удивляется старуха.

Сегодня исполнилось два года со дня смерти Хейни. Вечером устроили собрание в его память. Эрвин был главным оратором.

Ветер несколько затих. Из-за густой снежной завесы нисходит и поднимается голос Эрвин уже издали, из глубины морозной ночи.

– Я знал вашего сына, матушка. Знакомство было коротким. – Эрвин ведет старуху к фонарю и освобождает свою руку от кожаной повязки. Падающий снег делает мутным свет фонаря, и Эрвин отряхивает повязку о фонарный столб. Красный свет падает на глубокий шрам на его руке. – Это память от большой драки вашего Хейни на рынке. Случайно я оказался там в Рождество и дрался на стороне Хейни против одноглазого мастера. Этот мастер – мой отец, и этот знак остался с того дня.

– Знак, – бормочет старуха, опираясь на его руку, и голос ее жесток, – и офицера ты видел?

– Видел, матушка. И не только во время драки. До того, как он выстрелил в твоего сына, я встретил его в доме моего друга.

– Итак, все то, о чем ты сказал на собрании, ты ясно и твердо видел?

– Видел немного, но предполагаю многое.

Сквозь завесу снега Эрвин видит испуганное лицо Эдит в тот летний день, в саду, когда ей стало известно, что Эмиль Рифке посажен в тюрьму.

– Ты точно знаешь, что офицер никогда не действовал от имени республики? – спрашивает мать.

– Точно знаю.

– Если так, сын мой, то, что говорят коммунисты, – ложь.

– Да, матушка, – отвечает Эрвин тяжелым голосом. – Так я и сказал на собрании.

– Точно так.

В последние дни коммунисты в своих газетах снова подняли историю гибели Хейни сына-Огня. Они выяснили, что, что офицером, сделавшим смертельный выстрел в Хейни, был Эмиль Рифке, посланный нынче наводить порядок в Альтону от имени социал-демократического правительства. На собрании Эрвин обвинил коммунистов, что своими обвинениями социал-демократов они, по сути, оправдывают тех, кто в действительности посылал этого офицера, чем и способствуют палачам...

– Офицер – нацист? – кричит мать, и слова ее летят по ветру.

– Полагаю, что это так, но точно не знаю.

– Но именно это и нужно узнать!

Эрвин провожает ее до входа в переулок. Она исчезает, входя в дом, и Эрвин возвращается к липам, и уезжает на своем велосипеде.

Город тих. Не слышно звонка трамвая, гудка автобуса, грохота поезда. Не видно толкущегося народа у входа в метро. В истории города первая всеобщая забастовка. Бастуют транспортники. Темные фигуры снуют во всех направлениях. Ледяная корка на тротуарах и мостовых трещит под тяжелыми сапогами, и безмолвие тут же замирает вслед за ними. Эрвин разглядывает забастовщиков, выставивших пикеты на перекрестках, и долго еще поворачивается к ним. Ему кажется, что он наедине со всеми этими черными фигурами, движущимися по улицам. Ветер, бьющий навстречу велосипеду, остро колет в лицо, обжигая его до красноты, руки замерзли, и дыхание теряется под порывами ветра. Он слышит шум сталкивающихся льдин на реке. Слева, за небольшим полем, течет река Шпрее. Конец улицы упирается в мост, по ту сторону которого – его дом. Там ждет его Герда. Эрвин сходит с велосипеда, немного размяться, и начинает хлопать себя по бокам, сбрасывая снег со своего пальто, топает замерзшими ногами, постукивает замерзшими рукавицами, трет посиневшие щеки и нос. Затем опирается о стену дома. Ночная тьма глубока. Снег смешивается с нею. Но вот он уже у моста. Огоньки уже ведут его по знакомой улице, и он уже размяк и замерз достаточно, чтобы вернуться к Герде. Она ждет его там, чтобы приступить к решительному, меняющему ход судьбы, разговору, а он все

убегает от ее упреков и уговоров. Неожиданно он поворачивает обратно велосипед и останавливается около небольшой забегаловки на углу. Свет пробивается наружу из ее окон и слышны звуки старой народной песенки, звучащей с патефонной пластинки. Из-за стойки смотрит на него старый трактирщик, потирая руки.

– Что, парень, тяжелая зима. Такой зимы еще не было.

– Каждый год то же самое, – сердитым голосом отвечает Эрвин, и не может понять, откуда у него возник этот недружелюбный тон, – каждый год та же зима, и каждый год люди говорят, что такой зимы еще не было!

Эрвин видит себя в зеркале за спиной трактирщика. Почти не узнает самого себя. Снимает шапку. Чуб взъерошен. Светлые волосы во многих местах поседели. Глаза слезятся, и, несмотря на то, что щеки покраснели, пробивается сквозь красноту какое-то темное отчаяние. Брови прыгают: где это он уже видел это несчастное лицо с этими пятнами отчаяния? Его мать! Так ему помнится лицо госпожи Пумперникель в тот день, когда он с нею расстался и больше ее не видел. С таким лицом она смотрела на него: потемневшим, беспомощным от отчаяния. В тот день, оставив навсегда родительский дом, он был еще студентом Берлинского университета. Это были дни инфляции, дни, бурно продуваемыми по-новому веющими ветрами. Он подолгу гулял с Гердой, каждый вечер приходил и свистел под ее окнами. Дом ее родителей соседствовал со зданием старого суда, первым судебным зданием, построенным в Берлине. Стены здания украшали различные статуи: обезьяна – символ вождения, орел – символ грабежа и убийства, дикий кабан – символ коррупции и взяточничества, и странная птица с человеческим лицом и ослиными ушами – символ корыстолюбия. Напротив здания суда, посреди круглой площади, стоял большой памятник Мартину Лютеру, который держал открытую Библию из бронзы в руках, протянутых к аллегорическим скульптурам пороков на стенах судебного здания. Эрвин и Герда сидели на ступенях памятника Мартину Лютеру. В те дни Герда еще не была истовой христианкой. Маленький позолоченный крестик еще не висел у нее на шее. Оба носили эмблему коммунистической партии, и говорили не о любви, а об их совместном участии в борьбе. И чем больше говорили об этом, тем сильнее разгоралась между ними любовь. В те дни воздух города пылал от знамен демонстраций, от гражданских диспутов и войн. Ораторы рождались на улицах. Голодные люди, чье имущество и сбережения съела инфляция, прислушивались к «освободителям» и предсказателям будущего, как, к примеру, Отто Кунце, странного путаника, с жирным блестящим лицом, словно бы сделанным из недопеченного теста. Он толкал многословные речи на улицах и площадях, обвиняя во всех бедах этого голодного города социал-демократов и евреев, и беспрерывно повторял: «Бейте их палками!» Отсюда пошло выражение «Кунце Палкин». За короткое время он собрал достаточное число приверженцев, чтобы получить место в парламенте, и там, среди избранных представителей нации, продолжал истерически выкрикивать: «Бить палками евреев!»

Когда однажды Эрвин и Герда пришли к своему месту на ступенях памятника Мартину Лютеру, место их было занято. Там стоял Кунце и рубил свою «правду-матку», и масса народа взирала на Мартина Лютера и «Кунце Палкина». Рядом с Кунце стоял отец Эрвина, мастер Копан, который вернулся с войны без одного глаза и с обидой на весь свет: «Бить их палками! Палками!» И мастер поднимал вверх свою прогулочную трость, и помахивал ею в воздухе так, что воздух свистел. Эрвин был потрясен и испуган. Он все еще видел отца, мастера, как человека приветливого, каждое воскресенье посещающего церковь, и трость сопровождала его шаги ритмичным стуком по тротуару. До этого дня он не чувствовал изменений в поведении отца, ничего не знал о новом пути одноглазого мастера.

– Гляди, Эрвин, – сказала Герда голосом, полным боли и презрения, – насколько омерзительны эти типы, просто человеческие отбросы!

Но он тогда не сказал Герде, что среди омерзительных типов был и его отец. Он испугался, что Герда узнает про его кровную связь с истерически вопящим рядом с Кунце челове-

ком. Эрвин чувствовал, как растет ненависть из этого стыда, и как под этой ненавистью рушатся его детство и юность. Он сбежал тогда от памятника. Преследуемый этой ненавистью и позором, он пришел домой, собрал свои вещи, чтобы навсегда покинуть отчий дом.

Тогда его мать готовила в кухне борщ из красной свеклы. Серый передник ее был весь в красных пятнах. И он по ее серому лицу понял всю правду, обнаруженную им у памятника. Она молча прислушивалась. Из всего, что он ей сказал, она поняла, что ее единственный сын покидает дом и никогда сюда не вернется! Она знала сына, его упрямство, и стояла, замерев, у плиты, отирая руки о передник, глаза ее смотрели на сына, и лицо потемнело от отчаяния.

– Выпей водки, товарищ, – говорит старый трактирщик успокаивающим голосом, – это снимает угнетенность тела.

Эрвин опрокидывает рюмку одним махом и говорит нетерпеливо:

– Еще!

– Ну, конечно, конечно, – обращает внимание трактирщик на лицо клиента, покрасневшее от неожиданного разлившегося по всему телу тепла. Клиент опирается на стойку, словно на миг лишился сил. «Хороший клиент!» – говорят хитроватые глаза трактирщика, он склоняется над стойкой и говорит:

– Лучше двойная порция, парень, тебе необходим серьезный глоток.

Эрвин берет полную рюмку и направляется к одному из пустых столиков. Все остальные заняты. В такие морозные дни все питейные заведения забиты народом. Только в углу, за маленьким столиком сидит один человек. Эрвин занимает свободное место, рядом с ним. Человек пьян, взгляд у него мутный. За спиной его звуки патефона, смесь голосов, дым сигарет, запах алкоголя, медленное перемещение теней. Воздух забегаловки до того уплотнен, что вгоняет в угнетающую дрему. Слабо мерцающая лампочка на столе посылает шарики света в полную рюмку Эрвина, и они порхают по поверхности водки.

– Ирена! – обращается к Эрвину сосед плаксивым голосом, и кладет руку ему на плечо. – Ирена, ах, Ирена! – Икает. Сосед – крепкий усатый мужчина, с голубыми глазами и светлым волосом.

– Я не твоя Ирена, – снимает Эрвин руку соседа со своего рукава.

– Ты не Ирена. Разве кто-то сказал, что ты Ирена? Она моя жена. Из-за ее имени, у нее водятся мухи в носу. Мухи. Я тебе говорю, она дочь уборщика, и отец ее всю жизнь ковырялся в мусоре. А я взял ее в жены. И я... – Капли пота выступают у него на лбу. – Я... – икнул... Я! Профессиональный портной, работаю на швейной фабрике, где шьют пальто. Но пришла безработица, вышвырнули меня оттуда...

Эрвин еще раз махом опрокидывает рюмку. Сосед провожает взглядом каждое его движение. Расслабились все члены Эрвина. Туман усталости и жара в голове. Веки отяжелели, он закрывает глаза, но сосед снова кладет руку ему на плечо.

– У нее мухи в голове, товарищ, родила трех детей, и уже провозглашает и объявляет – хватит потомков, Эгон. Пора тебе обуздать свою чувственность. А я... товарищ, не хочу и не должен. Достаточно женщин для развлечений, но из-за того, что я безработный, приходится возвращаться к Ирине. Говорю ей – я без работы, и единственное мое удовольствие...

Глаза Эрвина рыщут вокруг, ища, куда скрыться от чувств назойливого пьяницы. Трактирщик ловит ищущий взгляд Эрвина, и вот уже стоит рядом, склонив голову.

– Еще, товарищ? У меня превосходный шнапс...

– И мне... товарищ, – ноет профессиональный портной, – нет у меня в кармане ни гроша... И очень желательно, чтобы ты угостил меня рюмочкой, человек. Я ведь тебе выкладываю душу. Выпьем рюмочку для сближения сердец.

– Дай нам! Дай нам... От твоего превосходного напитка, – Эрвин не ощущает, что угодливый тон посетителей забегаловки прилип к его языку.

Алкоголь смягчает его настроение. Картины и мысли приходят к нему как бы из дальней дали, хаотично стучат в голову, как ветви дерева – в окно рюмочной. Чужой голос без конца что-то нашептывает ему, голос человека, находящегося по ту сторону стола и за снежной вьюгой, бушующей там, за окном. Пытается Эрвин узнать человека, находящегося далеко от него, но сосед опускает голову и заслоняет того, далекого.

– Езус, – ноет портной, – товарищ! И что говорит И... Ирена? Распутник, говорит она, подумай лучше о том, чтобы бороться за свои права, как любой человек в наши дни. У тебя голова только настроена на грязные дела. Иди! – говорит она, иди и ты, сделай хотя бы раз что-то большое и чистое, выйди на улицу бороться, Эгон!

«Нет! – шепчет издали голос. – Не выходи на улицу, Эрвин». – Это же голос Герды. – «Если ты больше не можешь идти с нами, не проповедай против нас. Возвращайся домой, и молчи. Храни свою душу во имя твоего сына и во имя меня... Не выходи на улицу, Эрвин. Молчи!»

– Ха-ха-ха! – помирает от смеха профессиональный портной в полный рот, обдав лицо Эрвина тяжким облаком алкоголя. – Ха-ха-ха, товарищ, я говорю тебе то, что сказал Ирене. Хорошо, ты хочешь дела большого и чистого, пойду, помою слона. Ха-ха-ха! И пошел... Взял денег, пришел сюда, и вот, есть у Ирены дело большое и чистое.

«Герда, – шепчет голос в мозгу Эрвина, – нет, Герда, нет! Я не буду сидеть в доме и молчать!» – Он не чувствует своих двигающихся губ. – «В эти дни, Герда, каждый человек стремится жить честной творческой жизнью, быть частью общего пробуждения, большой войны. Так же и я иду своим путем!»

– Да, да, ха-ха! – смеется портной. – Я прочу Ирену.

«Герда! – стучит голос в мозгу Эрвина. – Герда, вывод в наши дни...» «Молчи, Эрвин!» «Послушай, Герда!» «Молчи!» – Эрвин охватывает ладонями голову. Но головная боль не проходит.

– Я прочу ее! Я прочу ее! – кричит портной.

«Вывод нашего времени, Герда, в том, что каждый шаг вперед начинается с отрицания ошибок и существующих лживых теорий. Я пытался познать на практике все идеалы моего поколения, Герда, все его движения, все наши ошибки и заблуждения, которые подталкивали меня».

«Молчи, Эрвин, замолкни! Каков смысл в этих твоих словах в наши дни. Отвечать надо на другие вызовы дня. Нет свободного времени на сомнения».

«Послушай, Герда, послушай!» – Эрвин ударяет кулаком по столу, и портной тоже ударяет.

«Слушай! Какое ничтожество требуется от человека, чтобы всю жизнь шагать по единственной линии мысли, выполнять слепо единственный неизменный долг. Какого ничтожества вы требуете от человека, Герда...»

«Прекрати, Эрвин. У меня не меньше сомнений, чем у тебя, несмотря на мою неотступную веру...»

«Почему мы все время ссоримся, Герда, почему?» – крупные капли пота покрывают лоб Эрвина.

– Слушай, товарищ, слушай! – кричит портной и ударяет кулаком по столу. – Сейчас я скажу тебе, И... Ирена хочет быть святой, как... в церкви.

Эрвин прислоняется к спинке стула, отирает пот со лба и вздыхает с облегчением. Голоса в сознании замолкли. Конец ссоре. За толстые голые стены церкви не проникает никакой голос. Как хорошо, что пришло ему в голову искать в ней укрытие от мучавших его голосов. В детстве он приходил в церковь со своей матерью, госпожой Пумперникель, и отцом, уважаемым мастером. Юношей он приводил в церквушку своего друга Гейнца, церквушку на берег Шпрее – «Церковь святого Петра». Сидел с другом в глубокой нише около входа и нашептывал

свои тайны. Церковный служка Эрих Бенедикт Фидельман подходил к ним, вперял взгляд в Гейнца и удивленно говорил: «Мальчик, ты еврей!» Никто никогда ему не рассказывал, что Гейнец, светловолосый юноша, – еврей. Бенедикт Фидельман, высокий, узкогрудый, длинноногий, широкоплечий, веснушчатый, в очках, обладал шестым чувством в отношении многих вещей. Он вел беспрерывные войны с женщинами, юношами и мышами. За церковью, на небольшом пустынном поле, иногда располагался рынок, носящий имя церкви – «Рынок Петра». Толстобрюхие женщины у рыночных прилавков носили кличку – «Ангелы Петра». Они окрестили Бенедикта «Очкастый журавль». Дети дразнили его этой кличкой и стреляли вслед ему из игрушечных пистолетов. Но самой большой бедой для него были мыши. Они приходили с рынка и находили себе в церкви теплое и удобное местечко. Эрих Бенедикт Фидельман вел с ними неустанные войны. Иногда призывал на помощь Эрвина, единственного юношу, к которому питал добрые чувства, и Эрвин отвечал ему тем же, защищал его от мальчишек на улицах и от мышей в церкви. Вместе с Бенедиктом Эрвин ходил по пустынной, едва освещенной церкви, рассыпая яд по углам, и Бенедикт обращался к юноше грустным голосом: – Юноша, этот яд не помогает. Я сельчанин, и хорошо в этом разбираюсь. Ты рассыпаешь яд против мышей, приходят коты, съедают мышей и подымают от отравы. Прилетают хищные птицы, клюют дохлятину, и сами тоже подымают. А без хищников мыши размножаются и заполняют весь мир. Так оно, юноша, мелкие гады всегда побеждают...

– Что ты там все время нашептываешь? – выходит из себя портной. – Все время повторяешь гады, гады... Берегись называть мою Ирену гадом. Не то, почувствуешь кулаки профессионального портного. Прекрати ее так называть!

«Не называй их гадами, Бенедикт», – пугается Эрвин, – Герда выходит из себя, когда я называю этим словом мышей, рыжего и тех, кто его посылает. Рыжий посещает Герду каждый день – предостеречь ее от мужа-извращенца и напомнить о ее единственном долге перед партией. Молчи, Бенедикт, молчи!»

Решительным движением Бенедикт кладет миску с ядом на пол между своими длинными ногами и начинает хлопать в ладоши, выбивая ритм какой-то неслышной мелодии.

– Говорю тебе, перестань без конца стучать пустой рюмкой! Этот стук раздражает меня. Сильно раздражает!

Эрвин внимает неслышной мелодии ладоней. И Эрих Бенедикт одаряет его долгим, невероятно печальным взглядом и спрашивает столь же печальным голосом: – Что с тобой будет, в конце концов, юноша Эрвин?

«Не знаю, Бенедикт. Здесь, где мы одни, без Герды, я могу назвать гадом этого рыжего, который приходит к моей жене день за днем. Это один из тех гадов, которые всегда возвращаются и побеждают. Всегда! Вчера пришел к Герде с угрозой. Речь шла о забастовке. Большой забастовке работников транспорта. До нее наша жизнь была почти спокойной. После смерти господина Леви я вернулся к Герде и маленькому сыну. Работал на литейной фабрике «Леви и сын», и приносил Герде, как полагается в семье, месячный заработок. Жизнь была нормальной и спокойной, несмотря на то, что все лето бурлило событиями. Все дни и ночи я проводил дома, читал книги и занимался малышом, заброшенным и нуждающимся в любви, как любое малое существо. Герда осталась членом партии и даже достигла в ней высот. Мы были вместе не в хорошем или плохом смысле, просто тень непрогнозируемых вслух вещей сопровождала нас все время. Мы старались сохранять в напряжении тот малый островок тишины и покоя между нами. Вся моя общественная деятельность сохранилась до размеров задымленного литейного цеха фабрики. Там я сумел добиться уважения среди литейщиков до того, как вспыхнула эта судьбоносная забастовка вопреки решению профсоюзов. Коммунисты и нацисты провозгласили ее. Вместе они шагают в демонстрации по улицам Берлина. Коммунисты нарушили фронт и воюют плечом к плечу с нацистами...

Звон усиливается. Эрих Бенедикт Фидельман стучит ладонью по жестяному боку миски с ядом. Эрвин пугается. Портной рядом с ним стучит по столу, так, что рюмки подпрыгивают и звенят.

– Ты не перестаешь... называть Ирену гадом! Ты...

Эрвин не обращает внимания на портного. Фидельман заполнил его душу. Эрвин погружен в беседу с ним. Не так уж много есть, что ему рассказать. Но это надо сбыть с души.

«Эта забастовка, Фидельман, вырвала меня из покоя, вернула на сцену. Я воюю, Бенедикт я ораторствую на площадях и перекрестках улиц».

«Перестань это делать, Эрвин, перестань! – Голос Герды. – Рыжий был у меня сегодня. Если не прекратишь, партия будет тебя судить. Не может покинуть известный лидер партию, чтобы публично выступить против нее, и не нести за это ответственность».

«Я знаю, Герда. Закон в ваших руках. Я готов к партийному суду».

«Суду у нас! Ты там, и я там... Эрвин, вернись!»

«К кому, Герда?»

«Ко мне! Не к нам!»

Он хочет притянуть ее к себе, но снова ничего не видит, кроме арки входа в церквушку Петра над собой, и надписи золотом и серебром большими буквами – «Простри, Господи, крылья Свои над каждой живой душой!»

Эрих Бенедикт Фидельман исчез, и глаза Эрвина, ищущие его, натываются на хитрый взгляд старого трактирщика, который стоит рядом, готовый обслужить.

– Еще?

– Еще!

– И мне! – стучит кулаком портной. – Он тут сидит и без конца бормочет... Ругает мою Ирену. Он должен угостить меня стаканчиком в знак примирения.

Голова Эрвина отяжелела. Глаза закрыты. Плавающая голова погружена в ладони. Портной успокоился. Звуки патефона замолкли. Облака табачного дыма сгустились. Где-то слышен пьяный крик. Сухой кашель и женский смех. И снова тишина, в которой слышен свист ветра за окнами. И вдруг студёный и сильный порыв ветра проносится по залу. Дверь распахнулась и со стуком захлопнулась. Шаги тяжелых сапог по деревянному полу. Смутное волнение среди посетителей. В разных местах люди вскакивают с мест.

– Рот фронт!

– Хайль Гитлер!

Мгновенно вспыхнувшая сумятица голосов. Со всех сторон кричат – одни сжимают кулаки, другие вскидывают руки. Портной вскакивает с места и исчезает.

Четверо мужчин у стойки пьют пиво. Пикет забастовщиков решил немного согреться. Двое из них в черных штанах для верховой езды, высоких черных сапогах, коричневых куртках, с повязками на рукавах, на которых – черная свастика. Двое других в тех же одеждах, только куртки светлые, на груди знак «Серп и молот». Черные шапки у всех четырех, привязаны шнурами к подбородкам.

– Прозит!

Восклицание мгновенно объединяет всех посетителей забегаловки, которые тут же окружают четырех пикетчиков. Трактирщик работает, не покладая рук. Только Эрвин из угла не поворачивает к ним голову, еще не соображая, кто эти четверо. Но почему стул у его столика пуст? словно кто-то силой сорвал его соседа с места. Эрвин тоже движется туда, где портной маячит в первых рядах. Эрвин отталкивает его, словно хочет с ним поругаться. На пикетчиков он внимания не обращает. Люди в форме – дело привычное в эти дни. Народ за его спиной увеличивается. Четверо мужчин чувствуют себя в своей среде в окружении этих лиц, выражающих им поддержку. И вот уже перед Эрвином бокал пива, хотя он его не просил. Он протягивает руку, и видит себя в большом зеркале между груд бутылок. Четыре черных головных

убора, привязанных шнурками к подбородкам, и между них его светловолосая взъерошенная голова. Четверо – как стена за его спиной. Четверо тюремщиков поднимают бокалы, Эрвин тоже поднимает. Звон сталкивающихся бокалов слышен за его спиной. Рука его опускается. Может, стена эта рухнет и рассосется! Стена прочна. Четверо тюремщиков вокруг него. Свастика с одной стороны, серп и молот – с другой.

– Свободы! Дайте мне свободу!

– Не кричи, – шепчет трактирщик Эрвину и протягивает ему бокал. – Ты что, сошел с ума. Пей и молчи!

Никто, кроме трактирщика, не услышал выкрика Эрвина. Вокруг звенят бокалы и голоса. Эрвин прилежно подносит бокал ко рту. Из-за эмблем, голов, рук, бровей, лиц, четыре пары глаз упирают взгляды в его лицо, четыре физиономии в зеркале хохочут.

– Что за смех? Вы смеетесь надо мной? Не смейтесь надо мной?

– Никто над тобой не смеется. Заткни пасть, если тебе дорога твоя жизнь.

Смех еще не прекратился. Ах, там, в стене, возник просвет. Один сдвинулся. Бежать! Один прыжок – и он свободен. Господи! Просвет закрылся. Это портной, его мимолетный друг возник между свастикой и серпом и молотом, держит бокал и кричит:

– Я совершу де... дело... большое и чистое!

Хочет Эрвин поднять кулак и чувствует боль в руке. Трактирщик вцепился ему в руку ногтями. Боль заставила его отвести глаза от зеркала и посмотреть в сердитое лицо трактирщика.

– Человек, будь человеком, сбереги свою душу, помолись благодарной молитвой за этот шум и суматоху, благодаря которой не слышат твоих слов, рассчитайся и немедленно убирайся отсюда.

– Мы еще посчитаемся, – кричит Эрвин, – посчитаемся до конца!

– Заткнись немедленно! – шепчет голос рядом с его ухом, и чей-то острый взгляд устался в него. Тут возникают в его мозгу искры осознания ситуации.

– Сколько?

Кладя на стойку банкноту, он снова смотрит в зеркало. Трактирщик торопливо кладет на стойку сдачу. Но Эрвин не видит денег – взгляд его не отрывается от зеркала. Портной окружен тремя. За спиной его – голова в черной шапке, прикрепленной к подбородку кожаным шнурком. Портной сдвинут с места, словно кто-то его сильно толкнул, Четвертый снова замыкает стену.

– Вперед! – сдавленным голосом кричит портной, высоко подняв бокал. – Вперед... к окончательной победе! – его тяжелое тело падает на Эрвина.

– Не выгалкивай меня отсюда!

– К окончательной победе! – наваливается портной на Эрвина.

– Не хочешь сдачи, – шепчет трактирщик, – бери это, – и вталкивает в карман пальто Эрвина плитку шоколада, – это покроет сдачу. Только убирайся с моих глаз.

– К победе! К победе!

Мечутся волнами руки в зеркале:

– За победу! Вперед!

– Хайль Гитлер!

– За победу! Рот фронт!

– Ложь! – кричит Эрвин. – Все лгут! Ложь!

– Он нарывается на скандал, – обращается трактирщик к четверем.

– Вы толкаете всех не к победе! Вы толкаете...

Сильные руки волокут Эрвина. Нет у него сил оказать сопротивление. Только голос его не умолкает:

– Придет день. Все вы исчезнете с городских улиц! Все эти рубашки! Коричневые и красные.

Резкий ветер закрывает ему рот, режет пылающее лицо, ерошит непокрытую голову. Шапку он забыл на стуле в забегаловке. Влажные хлопья снега выводят его дремотного сознания. Над дверью забегаловки тянутся длинные полосы света от большого фонаря. Белые тротуары пусты. Никого здесь не было миг назад? Никто здесь не ораторствовал перед толпой? Следы подошв на снегу вдоль тротуара. Куда все подевались? Почему ушли? Ни одной живой души! Только деревья по сторонам тротуаров и между заснеженными и безмолвными домами сбрасывают снег под порывами ветра. Надо бежать отсюда. Нет велосипеда. Он тоже оставлен у забегаловки. Полосы света словно хлещут по Эрвину. Глаза его возвращаются к человеческим следам на снегу. Он идет по ним, словно хочет обнаружить того, кто оставил эти следы, стоял здесь и, может, даже слышал его слова. У моста следы исчезают. Эрвин бежит по безмолвно замершему гладкому полю и быстро исчезает во мгле.

Герда услышала звук ключа, проворачиваемого в замке, и напряжение на ее лице спало. Она сидела на кровати, в толстом шерстяном свитере, большая подушка подпирала ей спину, большие очки в черной оправе на носу, с книгой, освещенной настольной лампой, в руках, в которой за последний час не прочла ни одной страницы. Очки сдвинулись на кончик носа, книга выпала из рук.

– Это ты, Эрвин?

– Ну, конечно, дорогая, это я.

– Твой ужин в печи, Эрвин.

– Минутку, Герда, только сброшу мокрую одежду.

– Ты совсем охрип, Эрвин. Иди сюда быстрее, согрейся.

Дыхание его все еще не успокаивается, после бега по ветру. Уши пылают. Пальцы замерзли. Он с трудом расстегивает пуговицы пальто, сбрасывает с него снег. Из кармана что-то торчит. Каким образом попала эта плитка в его карман? Конечно, это он купил Герде. Что вдруг? Никогда не приносил ей шоколад. Не было такое принято между ними. О чем он думал, когда решил купить плитку дорогого шоколада? Кажется ему, что размышлял о чем-то важном, но о чем. Вспомнить не может.

– Что ты там делаешь, Эрвин? Поему ты застрял в коридоре?

– Снимаю мокрую обувь, Герда, и немного причешусь.

Из зеркала в ванной смотрит на него влажное припухшее лицо. Глаза красные, утомленные. Где он уже сегодня видел это лицо? Из-за зеркала, из-за лица полного отчаяния и беспомощности, возвращаются воспоминания. Теперь он чувствует боль, синяки от рук, которые толкали его. Была драка. Он сейчас ее припоминает.

– Эрвин, ну что-то ты там замешкался?

– Я иду, Герда! Я иду! – и замирает в дверях комнаты. – Вот, для тебя, Герда. – Он приближается к ней и протягивает плитку шоколада.

В полном удивлении, она сотрясается от смеха и кутается в свитер.

– Возьми, Герда, возьми.

Какая-то непривычная мягкость слышна в его голосе, и плечи ее вздрагивают. Лицо его какое-то совсем иное, словно что-то отвлеченное проступает в нем.

Она протягивает ему руку и бормочет:

– Очень красиво, Эрвин. Спасибо. Это действительно приятно.

Ее шершавая рука, дрожащая в его руке, пробуждает непривычные, забытые струны души. Губы прижимаются к ее руке с жадностью человека, который ждал этого мига давно, выстрадал его. Лицо ее тоже меняет выражение. В последние недели страдания сделали выражение ее лица смутным, огрубило его, и светлые глаза потемнели. Она разрывалась между вер-

ностью Эрвину и верностью партийному долгу. И выбрав партию, она замкнулась в отчаянии. После такого решения, она не была готова а таким эмоциям.

Все было перевернуто, вопреки всякой логике. Лицо ее было растерянным, красным, глаза увлажнились. Она положила свою холодную руку на его охваченный болью пылающий лоб.

– Но, Эрвин, Эрвин, – поглаживает она плитку шоколада, лежащую на одеяле. Эрвин склоняет к ней голову и обнимает ее плечи. Запах алкоголя ударяет ей в лицо.

– Ты пьян! – Она отталкивает его, и выражение омерзения проступает на ее лице. Эрвин отпрянул. Не он, а что-то более общее засмеялось в нем коротко и остро. Герда не может признать его беспомощность.

– Твой ужин там. Сядь и поешь, – указывает она на печь в углу комнаты.

Но Эрвин не голоден. Тошнота сжимает его горло. Он хочет удалиться в смежную комнату, к маленькому сыну, лечь на диван, отключиться от всего, и от нее тоже. Но не решается. Послушно идет к печке, извлекает сковороду с едой, которую она ему приготовила. На столе белая светящаяся чистотой скатерть, и посуда, приготовленная для ужина. Но эта чистота и порядок уже не связываются с его жизнью, которой завладел беспорядок и сумятица. Он рассеянно плюхается на стул, а Герда молчит. Чем-то раздражает нервы это тяжкое молчание. Он захлебывается, кусок не лезет в глотку, и он отталкивает тарелку. Дрожь от холода сотрясает его тело. Он кладет руки на стол, и голова падает на них. Босые ноги замерзли. Убегая от зеркала к Герде, он забыл надеть домашние туфли. Он хочет рассказать ей, что носки у него порвались, и смеется про себя: чего ему приходится к ней с такими мелочами? Чувство бунта против всего этого пробуждается в нем. Чувство сопротивления рождает в нем новые силы:

– Носки у меня порвались.

– Ах, – поднимает она голову, – действительно, я не проверяла твои носки в последнее время... Почему ты не надел хотя бы домашние туфли?

– Я не нахожу их.

– Сейчас принесу.

– Что ты? Не выходи из теплой постели в холодный коридор.

– Чего ты столько времени шатался по улицам после собрания?

– Ты уже все знаешь о собрании. Рыжий тип посетил тебя и сегодня.

– И не один. И не ко мне пришли. К тебе.

– Ко мне? Что им еще от меня нужно?

– Хотели с тобой поговорить. Пришли с добрыми намерениями. Они хотят отменить суд, учитывая бывшее ваше товарищество. Ты знаешь, Эрвин, внутренний партийный суд требует выводов и также... Приговора. – Голос ее холоден, и Эрвин опускает голову. – Эрвин, хотя бы один раз нам следует поговорить открыто. Я давно жду этого разговора. У меня нет больше сил – все это выдержать. Что будет, в конце концов, с нами, Эрвин?

Он уже слышал такой вопрос в ту ночь. В мозгу его смешиваются голоса.

– Что будет с тобой, в конце концов, юноша Эрвин?

Жестяная ложка ударяет в миску с ядом. Порывы ветра взвихривают снег за окнами, стучат в стекла. Печаль в голосе Эриха Бенедикта Фидельмана столь глубока, что в самом вопросе заключен ответ. Красный фонарь раскачивается на ветру и старуха, мать Хейни, говорит хриплым голосом: «Нет нужды в стольких словах, Эрвин, я видела знак на твоём лбу». Эрвин проводит ладонью по лбу. Сердце возбуждено ошутимо ночным безумием, а в душе усталость и размягченность, какие бывают после долгого, трудного и бесцельного диспута. Герда в ореоле света не поднимает головы, и молчание между ними, как пропасть.

– Герда, уже все сказано, слова тут уже не нужны.

– Когда было сказано что-то серьезное? – отвечает она сердито. – Давно уже мы не говорили откровенно.

– Говорили, Герда. Был долгий разговор. Нечего к нему прибавить.

– Эрвин, что ты говоришь? Ты...

Хотела добавить слово «пьян», но Эрвин вскочил со стула и смотрит на нее тем взглядом, в котором выражено все его душевное состояние. Она опять кутается в свитер, вид у нее несчастный.

– Герда, – придает он своему голосу добросердечный тон, – ты хотела сказать, что я пьян. Нет, дорогая моя, опьянение мое в эту ночь было не опьянением. Я вернулся к тебе из ужасных мест. Там все сказано, Герда. Там все потеряно. Я вернулся бездомным. Осталась нам лишь сила души. Силы, которым вручены наши жизни, не в силах отобрать наши души. И душа моя любит тебя, Герда. Странно, что в дни, когда, по сути, все разрушено, именно, в эти страшные дни я ощутил в себе любовь. Это талант души, как любой талант, и он обладает великой силой, если хочешь знать. Давай держаться друг за друга.

– Эрвин! – кричит Герда. – Если ты меня любишь, почему оставляешь меня на произвол судьбы?

– Я оставляю тебя, Герда? На кого?

– Ты оставляешь меня в их руках! Я остаюсь у них, Эрвин, чтобы стеречь твою жизнь. Не только потому, что, по-моему, нельзя оставлять воюющий фронт, не только потому, что оставлять его я считаю предательством. Не из-за всего этого я осталась с ними. Я не хочу потерять свой дом. Но пока еще я их лидер, я сумею защитить твою жизнь.

Он ерошит ее волосы и улыбается. Свет лампочки мигает. Ночь заглядывает в комнату.

– Бедная моя. Так и осталась наивной и чистой. Душа твоя не постигает, что они, твои друзья не отличают невинность от долга. Я о тебе беспокоюсь, Герда.

– Если так, Эрвин, почему ты не делаешь единственную вещь, которую надо сделать?

– Что ты просишь от меня?

– Сядь и успокойся. Они от тебя не требуют ничего, кроме твоего молчания. Что тебе до этой войны? Один, без партии, ты ведешь против них подстрекательские речи. И долго ты будешь это делать?

Снова в ее глазах ожесточение человека, решение которого неизменно, и он не хочет слушать никаких возражений. И от этого решительного лица в сердце его вернулось отчаяние. Он отворачивает от нее взгляд. Там, за темными стеклами, возникает лицо старухи, и низкий ее голос звучит в опустошенном мире, на собрании в память ее убиенного сына.

– Мой Хейни один пошел войной и не вернулся. И муж мой пошел не с толпой, один, и больше я его не видела. В тот день объявления войны, он вернулся домой с улицы и сказал:

«Голубка моя, толпа восторженно взывает к войне, а в углу, на ящике, стоит один единственный человек, Карл Либкнехт, и проповедует против войны. Я с ним, голубка моя... на фронт пойду, к оружию не прикоснусь». Вышел и не вернулся. От таких людей, как он, стараются быстро избавиться!»

Он снова смотрит на Герду:

– Я должен идти своей дорогой, даже один. Или ты бы хотела, чтобы я потерял самого себя, стал человеком без обличья, без внутренней сущности?

Она поджимает губы. Взгляд ее падает на чистую подушку, приготовленную для него.

– Разденься, Эрвин, – она ловит его удивленный взгляд, обращенный на чистую подушку. – В эту ночь тяжко во много раз. Поспим немного, Эрвин.

Когда он сбросил рубашку, на лице отразился ужас. Она увидела синяки на его руках и теле.

– Эрвин, что случилось? Что произошло?

– Бой, Герда, – отвечает он равнодушным голосом.

– Бой? Кто тебя бил? Кто тебе это сделал?

– Избили как надо!

– Кто? Кто?

– По двое с каждой стороны, Герда, – отвечает он с легким смехом, – я оказался между забастовщиками.

Он рассматривает свои руки в синяках, словно пытаясь определить, кто бил его. Герда сбрасывает одеяло. И с чувством солидарности бежит к нему и обнимает за шею. Слезы текут из ее глаз. Она прикладывает прохладные руки к его синякам.

– Они тебе это сделали. Все! Все! – сильные рыдания сотрясают ее.

Он сжимает ее в объятиях, целует в глаза, полные слез, чувствуя с удивлением чудные ее объятия.

– Что они с тобой сделали?

Он старается успокоить ее и слегка отстраняет от себя.

– Успокойся, Герда. Это обычное дело. Происходит каждый день.

– Но все это они тебе сделали. Все набрасываются на тебя. Все!

Она чувствует его одиночество, как свою вину. Прижимается к нему, и он обнимает ее. Они сжимают друг друга в объятиях, словно боятся потерять друг друга. Эрвин гасит лампу, держит ее в объятиях, гладит ее тело и голову, как бы защищая ее от стужи и ветра.

Глава четвертая

Утро неудач. Саул в кухне готовит себе утренний кофе. Отец и мать еще спят сном праведников. Сумеречные часы рассвета. Едва-едва пробивается слабый серенький свет сквозь ночные темные грозовые облака. Ветер посвистывает над разбитой жестью домашнего водостока, по которому стекает, наполняя двор, тающий снег с крыши. Длинные сосульки виснут на окне кухни. Снег падал всю ночь. Нога человека еще не ступала по девственному белому ковру. Не слышно голосов снаружи и в доме, только – посвист ветра. Один Саул бодрствует. Он склоняет взъерошенный чуб над кастрюлей, в котором кипит вода, и восходящий пар согревает сморщившееся от холода лицо. В кухне стужа. Слабые язычки пламени газа не в силах согреть помещение. Пальцы Саула одеревенели от холода. Он подтягивает до уровня рта темный свитер, но это, вместе с толстыми штанами для верховой езды, заправленными в шерстяные носки, доходящие до колен, не спасает от холода, сковывающего все тело. Он обхватывает двумя руками горячую чашку и ставит ее на стол, рядом с открытой книгой о герое русской революции, командире конной армии Буденном: с цветной обложки смотрит красное лицо с огромными усами. Медленно мажет Саул масло на булку и отрезает себе несколько кружков колбасы, словно этой медлительностью пытается отсрочить какое-то решение, которое должно быть принято в эти минуты, здесь, в этой холодной кухне. Лицо его хмуро и даже несчастно. У него большие неприятности. Задумавшись, он кладет толстые кружки колбасы на булочку с маслом. Медленно, пока родители спят, Саул нарушает все правила кошерности. Откусывает от вкусной трэфной булки, склонившись над усатым всадником. Речь героя русской революции – на восьмидесятой странице. Саул дважды прочитал книгу, а речь – несчетное число раз.

Воробьи выпархивают из-под водостока, и заполняют двор ужасным чириканьем, кофе заledenело, а Саул так погружен в чтение речи героя, что даже буйный свист ветра за окном его не колышет.

– Ха!..Красное знамя, порванное в боях, развевается в руках пролетариев, готовых к битве против империалистов. Палачи революции в своих блестящих сапогах успевают сделать лишь несколько шагов от жилищ революционеров. Знамя мощно развевается на весеннем ветру, и Буденный на высоком коне натягивает уздцы, и голос его громом отзывается в сердцах.

– В бой, товарищи! Первая в мире власть рабочих и крестьян приказывает вам атаковать черную реакцию и добиться победы. Шашки к бою против хищных зверей в человеческом облики. С пролетарским мужеством и большевистским упрямством – против изнеженных белоручек!.. – Какие слова! Но в это утро даже такие прекрасные слова не в силах успокоить Саула. Утро судьбоносного решения. Саул смотрит в книгу и не читает. По сути, эта книга – подарок Иоанне, купленный к последнему ее дню рождения, который праздновали в саду ее дома. Иоанна не была в восторге от этой книги. Никогда не упоминала имя Буденного в их серьезных разговорах, просто была к нему равнодушна. Вместо этого читала уже пятый раз книгу «Алтнойланд» («Старая новая страна») и до того была от нее в восторге, что повесила над своей кроватью портрет автора Теодора Герцля. И если он во время не сбежит, ее разговор об этой книге и ее авторе будет нескончаем. В последние дни Саул сторонился ее. В глазах окружающих он все еще ее друг. Но только в их глазах и глазах Иоанны. Но в душе своей он считает, что дружба эта завершилась, только она этого еще не знает. Он расстался с ней в день большого сионистского собрания. Оратором был Александр из Израиля. Он говорил об образцовом государстве, которое создадут евреи в их древней – новой стране. И тут же Иоанна стала ему шептать: «Как у Теодора Герцля, как в «Алтнойланд». И он очень рассердился. Из-за чего? Из-за того, что нет предела ее восторгу от книги, в которой буржуа собираются создать буржуазное государство. И мягкотелые белоручки в удобных креслах на верандах кафе

обсуждают ее между двумя глотками кофе. Нет! – Саул поднимается со стула, идет к плите, нагреть себе вторую чашку кофе.

На том собрании Саул не успел сказать Иоанне, что совсем не в восторге от речи Александра. Абсолютно нет. Как он представляет себе создание образцового государства, если до этого не будут оттуда изгнаны все империалисты, плутократы, колониалисты и капиталисты – английские, арабские и еврейские? Даже намеком не упомянул Александр великую революцию, которую необходимо произвести в Израиле, чтобы там создать образцовое государство. Не смог Саул высказать свое мнение, потому что все встали и спели «Атикву». Но он, конечно, рта не раскрыл. В движении поют не эту буржуазную песню, а гимн рабочих «Крепись...» А Иоанна?.. Она, конечно же, пела эту буржуазную песню. Но потому что она вообще не участвует в коллективных спевках, и это справедливо, – она не сумела издать ни одного нормального звука, одну фальшь. И не только потому, что она вдруг решила эти звуки издавать, но при этом расчувствовалась до слез. Платка, естественно, как всегда, у нее не было. Ему стало за нее стыдно. Какой позор! И он решил – надо кончать эту дружбу с ней, прервать всяческие отношения! Невозможно больше терпеть все ее выдумки в последнее время! Например, в строчке песни «Здесь, в стране наших праотцев» она вздумала поменять слово «здесь» на «там». И тут же открыла по этому поводу шумную кампанию и говорит, и говорит, и возбуждает все подразделение, так, что все уже поют по-новому. Саул – в оппозиции! В последнее время он резко выступает против всего, что говорят их инструктора и товарищи по движению. Трудно быть в оппозиции. В общем-то, ему не очень нравится быть всегда против, тем более, что ничего хорошего это ему не принесло. Так или иначе, его постигли неприятности! Саул вскакивает со стула. Ноги совсем замерзли. Деревянный пол в кухне скрипит под его шагами. Только бы не разбудить отца и мать. Он останавливается у окна. Снежная пустыня протягивается до подоконника. Подвал Эльзы совсем исчез. Так или иначе, подвал пуст. Летом умерла мать Эльзы... Саул поворачивается спиной к белому двору, и шум ветра смешивается со стуком сердца.

Так или иначе, наступает судьбоносный час молодежного движения, которое отныне не является только мечтой. Летом выезжает первая группа на базу по подготовке к репатриации. Подразделение должно будет выбрать кандидатов. Великое дело! Атмосфера была накалена, глаза Иоанны сверкали, словно в нее вселилась лихорадка. Воздух в комнате, где велась судьбоносная беседа, просто стоял недвижимым столбом от жары и невероятного напряжения. Только Саул был равнодушен. Его это не колышет. Его не интересует вообще молодежная репатриация. Кроме того, он был уверен, что его не выберут, ибо в последнее время у него были бесконечные стычки и ссоры с инструкторами и товарищами. Кто выберет оппозиционера кандидатом на репатриацию? И вот... его выбрали. Из-за Иоанны, естественно. Встала, говорила и убедила, вошла в раж и убедительно доказала, что нет лучшей кандидатуры для представительства их молодежного подразделения. Он являет совершенство человека, представляющего движение. Господи! Это беда! Он, который в душе решил оставить движение, избран его представителем. Белла и Джульетта, руководители движения, присоединились к мнению Иоанны, и вообще не коснулись его оппозиционности. Все было зря! Теперь он обязан принять решение в ближайшие дни. Сообщить однозначно, что он покидает движение!.. Хотя ему нелегко его покинуть. Он любит его. Но какова ценность столь мягкотелой любви, когда на улицах Берлина идет настоящая война. Саул хочет присоединиться к коммунистической молодежи, выйти на уличную борьбу, воевать, а не сидеть, сложа руки и оставить классовую борьбу до отъезда в Израиль, как этого требует движение от своих членов. Нет! Саул с пылающими гневом улицами Берлина. И любовь к сионистскому движению больше не представляет для него интереса.

Резкий гудок машины сотрясает кухню. Это привезли утренние газеты в киоск Отто. Огромный пес Ганса Папира заполняет ужасающим воем, явно возвещающим начало нового дня, переулком от края до края. Уже во дворе слышна сумятица голосов из дома. Восходит новое снежное вьюжное утро, как и каждое утро в этом месяце.хлопотливое, полное забот утро.

Саул готовится на выход, берет с собой книгу, рабочую одежду, всю в пятнах, и несколько ломтей хлеба, приготовленных вчера матерью, вовсе не для школы. Саул больше ее не посещает. Осенью ухудшился ревматизм господина Гольдшмита, и нет у него больше сил – ходить без помощи толстой трости. Каждый день он вынужден сидеть в плетеном кресле, которое служило деду, и тот, сидя в нем у окна, взирал на узкий двор. Теперь Саул кормилец семьи, и весьма в этой роли преуспевает. Дела лавки под его руководством идут успешно. Он ловок, быстр, его на мякине проведешь. Каждое утро он отправляется на бойню, и не дает мясникам себя обмануть. Он что, не мужчина? Нет мужчин, подобных ему! Саул напрягает грудь. Есть, что напрячь! Он сильно вырос за лето и осень, почти достиг роста дяди Филиппа, и уже можно видеть, что он его обгонит в росте. Это наполняет Саула гордостью. Грудь и плечи расширились у него не по возрасту, мускулы окрепли, и летом он завоевал для подразделения первое место по плаванию. Нет сомнения, его уход оттуда нанесет подразделению большой ущерб. Они еще сильно пожалеют и почувствуют кто он, после его ухода. Это тоже доставляет ему удовольствие, улучшает настроение, но и немного печалит. Иоанна, несомненно, будет огорчена. Не так быстро она найдет себе нового товарища. Может, вообще не найдет, и его охватывает жалость к ней. Нет! Он еще недостаточно закален. Еще остались в его душе следы мягкотелости. Жалость... она не подходит к той жесткости, которой требует его душа. Молодой кормилец решительно сморкается. Лицо усиленно хмурится. К такому лицу идут едва пробивающиеся усики, пока еще очень тонкие, лишь едва покрывающие верхнюю губу пушком, который придает хмурому лицу некое легкое щегольское выражение, которое явно портит ему настроение. Из-за этого он приобрел очень темные очки с широкими стеклами, придающие его лицу серьезность, подходящую к его отношению к миру. Саул явно восстает против правил вежливости и уважения к окружающим. Прошло время, когда он боялся окрика отца и назиданий матери. От напора госпожи Гольдшмит мало что осталось. Ее глаза, которые были проворнее змеи, успокоились в последние месяцы, и лишь вспыхивают при появлении ее брата Филиппа, который упрекает ее в том, что она забрала сына из школы. Тогда госпожа Гольдшмит упирает руки в бока и говорит прежним сварливым голосом:

– Такова жизнь. Что мне делать? Попробуй ты сделать лучше.

Дядя Филипп уходит, и молодой кормилец посылает ему вслед презрительный взгляд. Чего ему, дяде, являться сюда со своими нравоучениями? Какое еще удовольствие от дяди?!

Саул натягивает брюки, затягивает их поясом, на пряжке которого знак магендавида, и к поясу приторочены кожаные ножны с длинным и острым кинжалом. Все это – обмундирование молодежного движения. Быстро надевает куртку зеленого цвета, затягивая ее широким кушаком и большой сверкающей пряжкой. Куртку эту он приобрел несколько дней назад, и на пряжке ничего не выгравировано. Голову покрывает синим беретом, который тоже в моде среди членов движения, натягивает на руки перчатки, берет из угла новый велосипед Иоанны, готовясь в дорогу. Дом уже шумит в полную силу. Во двор вышли люди с ведрами в руках, собирают чистый снег, чтобы приготовить утренний кофе. Во многих квартирах замерзли краны.

Утро в разгаре. В соседней комнате, около постели матери, звенит будильник. Саул проходит в лавку, с большим шумом поднимает жалюзи, вешает большое объявление между колбасами, висящими в витрине: «Сегодня – молотое мясо, свежее и высококачественное!»

Сегодня день обычных забот. День молотого мяса. Очередь за субботними закупками начнется лишь завтра. Но у Саула еще много забот, кроме заработков. Сегодня он торопится не на бойню, а совершенно по другим делам.

– Всем врагам Израиля такую погоду, – говорит за его спиной мать, которая пришла в лавку в утреннем домашнем халате, из-под которого торчит длинная ночная рубаха. Глаза ее, как и глаза Саула, следят за ветром, бьющим по домам и людям.

Саул уже у дверей. Хорошо, что не видит своего лица в эти минуты. Ничего в нем не осталось от жесткости и хмурости. Несчастное лицо мальчика, боящегося выйти на сильный

ветер. Но госпожа Гольдшмит хочет как-то поддержать сына, и даже погладить его по щеке, напутствуя в дорогу, но не осмеливается, разве можно даже подумать такое – гладить по щеке сына, ставшего кормильцем? И она лишь довольствуется выражением, произносимым ею в последнее время часто беспомощным голосом:

– Такова жизнь.

В слабом утреннем свете переулочек вытянулся вдоль заснеженных тротуаров. Серые ветхие дома вырисовываются, как заплесневевшие грибы. Громко слышны голоса в эти ранние часы утренней пустоты переулочка. Громоздкими выглядят фигуры, топчущие девственный снег. Все дома полны шума. Только киоск Отто одинок и безмолвен. Два огромных снеговика, вооруженные рваными метлами, высятся по обе его стороны. Ветер бьет по липам напротив киоска, сшибает рваные картузы со снеговиков, развеивает набросанные на них лохмотья. Много таких снежных истуканов выстроилось вдоль переулочка, много часов тратят на их лепку безработные переулочка. И стоят эти истуканы, как белое войско с одними и теми же бессмысленными обликами, обдуваемыми ветром.

Перед мясной лавкой стоит Изослечер, друг Саула по острогу, и ковыряется в носу.

– Изослечер, – одергивает его Саул, – перестань ковыряться в носу.

Изослечер мгновенно подчиняется приказу, почти вытягиваясь по стойке смирно. Саул его работодатель, посылает в разные места и дает небольшие поручения за одну марку в час. Одна стыдоба этот Изослечер: все лето сидит в тюрьме, в душной камере, без возможности сделать хотя бы глоток чистого воздуха, а теперь, когда сильный мороз, он выброшен из теплой тюрьмы, только Саул прислушивается к его вздохам, хранит ему верность. Он любит отдавать ему команды голосом, сияющим быть металлическим, строгим, и видеть, как тот с великим прилежанием их исполняет. Ему приятно, что Изослечер зависит от щедрости его души, и то, что он поучает старика. Что касается телесного воспитания, тут Саул должен признать поражение. Он повел Изослечера в общественную баню, принес теплую и хорошую одежду, оставшуюся от покойного деда, и даже заплатил парикмахеру за бритье. Но все это оказалось впустую. Изослечер почувствовал себя плохо после мытья в общественной бане, ибо весь пропах хлоркой, а он точно знал, что хлор это сильный яд. Неделю он болел после этого мытья, и ничего не помогало, пока он не пошел и не продал все одежды деда, благословенной памяти, нашел себе пристанище в трактире, и не сдвинулся оттуда, пока не спустил все деньги до последнего гроша, и из него испарился весь запах хлора. Пришел он к Саулу в рубище из мешковины, и от деда остались на нем лишь ботинки. Но из-под теплых носков, подаренных ему Саулом, поблескивала бумага, лучше которой, по его мнению, нет для сохранения тепла ног. К этому следует добавить, что волосы снова отросли у него, как у дикобраза, и борода проросла такой же дичью. Это по части физического воспитания. Что же касается воспитания духовного, тут, несомненно, у Саула были успехи. С большим прилежанием слушает Изослечер сентенции своего работодателя, и глаза его с обожанием взирают на Саула, как бы говоря: какой ты мудрый, Саул! Он даже приобрел при помощи Саула мировоззрение. Это обожание Изослечера очень по душе Саулу.

– Доброе утро – Цафра Тава, – говорит он по-арамейски, – есть ли для меня сегодня работа, Саул?

– Нет. Сегодня день молотого мяса, – указывает Саул на объявление между колбасами в витрине. В обществе Изослечера он вырабатывает в себе краткость, деловой разговор. Изослечеру нет дела, и глаза его косят в сторону рюкзака работодателя. В день молотого мяса, который обычно является днем, когда Саул шатается по всему городу по многим своим делам, не связанным с бизнесом, он обычно делится завтраком со своим другом.

– Что сегодня есть на пропитание, Саул? – деловито спрашивает Изослечер.

– Колбаса «салами» первого сорта.

– Отлично! – с большим удовлетворением произносит Изослечер, и в глазах его выражение мольбы. – Саул, сможешь ли ты одолжить мне одну марку в счет завтрашнего дня, чтобы я зашел к Бруно и согрелся рюмочкой? – И уже протягивает руку.

– Денег нет, питье алкоголя запрещено. Это лишь приносит ущерб здоровью.

– Почему, Саул? Почему у ты мне всегда запрещаешь питье и курево, а я тебе говорю, что в этом мире еще ничего лучшего не придумали.

– Чепуха. Алкоголь и курево ослабляет душу и тело. Сидит революционер в остроге. И нет такого революционера, кто бы время от времени не сидел в остроге... – Изослечер кивает головой в знак согласия: уж он-то разбирается в делах острога.

– Сидит, страдает, – продолжает Саул, – душа его жаждет шнапса и сигареты. Он к ним привычен. Это же смешно, чтобы революционер страдал из-за таких мелочей.

– Почему? – упрямится Изослечер, который в отношении спиртного не уступает Саулу. – Я знаю многих революционеров, которые любят пропустить рюмку, и дымят, что твои трубы.

И сразу замолкает: видит в конце переулка горбуна Куно, пытающегося выпрямиться. Новые ботинки Куно скрипят по снегу. Превосходные ботинки с меховой подкладкой, и все в переулке не перестают хвалить их.

– Да, да, есть люди, которым улыбается успех даже в эти дни.

Изослечер бежит за Куно, не отрывая взгляда от толстой сигары, торчащей у того из рта. Опять Куно и шагу не ступает без роскошно пахнущей дорогой сигары в губах, и докуривает ее всегда до половины, а вторую половинку отшвыривает, как истинный господин. Изослечер молниеносно нагибается и хватается окурков, чтобы никто из стариков, шатающихся по переулку, не опередил его. Куно уже исчез в трактире Флоры. Перед дверьми трактирщик Бруно сметает снег с крыльца. С большим уважением распахивает двери перед горбуном. Изослечер хочет вернуться к Саулу, но его нет. Он ведет велосипед к киоску Отто в конце переулка. Изослечер орет ему вслед охрипшим голосом:

– Саул! Подожди, Саул!

Но Саул не оборачивается и еще убыстряет шаги. Сильно сердится на своего подопечного, который оставил его посреди важной беседы, и из-за кого? Из-за этого горбуна и его окурка! К тому же, известно каждому, что горбун – подонок, осведомитель, шпионит в переулке в пользу нацистов, и любой уважающий себя человек держится от него подальше.

– Саул, подожди. У меня к тебе дело. Очень важное, честное слово!

Саул останавливается, но не из-за Изослечера, а из-за долговязого Эгона, проходящего мимо и свистом вызывающего Ганса Папира. Эгон научился хорошо свистеть. Теперь он не просто Эгон, а сержант Эгон, одет в форму, свастика на рукаве. Саул не упускает возможности плюнуть ему вслед. Он делает это медленно, три раза подряд, в снег. Эгон удаляется, Изослечер приближается к Саулу, тяжело дыша от быстрой ходьбы, скашивает глаза, покрасневшие от ветра и мороза.

– Иди домой. Ты мне сегодня не нужен!

– Ладно, Саул. Чего тебе сердиться на человека, который хочет себя развлечь. Всего лишь развлечься. Запрещено курить, Саул, несомненно, запрещено. Но мне есть тебе что-то рассказать. Вправду, Саул. Подожди. Тебе будет интересно. Даже очень.

– В чем дело? Нет у меня свободного времени.

– Речь идет об Эльзе, Саул.

Саул останавливает велосипед, зубы его стучат от холода, взгляд обращен к Изослечеру.

– Говори!

– Дело в том, что Эльза теперь не Эльза, а Цили. Вернее, Эльза в обычной жизни, и Цили – как звезда в искусстве.

– Что?

– Что слышишь. В трактире у Карлы Миллера, в Голубином переулке. Около Александерплац. Там она просиживает целые дни, словно зарабатывает у Карлы Миллера. Но это не так.

– А как?

– Он зарабатывает на ней, а не она на нем.

– То есть.

– Просто, Саул. Это большая выдумка. Карла на ней зарабатывает большой капитал.

– Он что, ее продает? – вскрикивает Саул. – Этот гадкий тип буржуазного вырождающегося мира.

– Он никакой не тип, он просто дурак, каких мало, но в отношении Эльзы проявил большую мудрость. Он даже ее не продал. Что еще можно у нее продать? Он сделал из нее большую артистку. Танцовщицу, Саул.

– Чепуха какая-то. Что вдруг Эльза – танцовщица?

– Почему бы нет? Она все еще красива. Бедра, ноги, и все остальное при ней. Карла снял для нее комнату на третьем этаже своего дома, и там каждый вечер собираются у него и у Эльзы все те, которые ему верны и не пойдут фискалить в полицию, и могут потратить десять марок, чтобы увидеть Эльзу в роли Евы. Я тебе говорю, Саул, совсем голой. Очень рекомендую посмотреть. Я могу тебя ввести к ней, Саул, за десять марок. Только не торгуйся со мной.

Лицо Саула покраснело, не только от мороза и ветра. Он продолжает идти, толкая велосипед. Изослечер бежит следом за ним, бежит и говорит. Дыхание его пресекается.

– Саул, что в этом такого? Десять марок это дорого? Что это для тебя?

– Иди своей дорогой, – кипит Саул, – продажная твоя душа.

– Почему? Что ты всегда чураться девушек и всего, что с ними связано? Я тебе говорю, еще не придумали в мире ничего лучшего.

– Иди своей дорогой, сказал.

Изослечер вовсе не собирается идти своей дорогой, пока Саул не поделился с ним хлебом с колбасой «салами». Торопливо подпрыгивает мелкими шажками за Саулом и говорит, не умолкая, до того, что голос его уподобляется чириканью голодных воробьев под водостоками домов в утреннюю стужу.

– Саул, Саул, ну, подожди. Что случилось, Саул? Я знаю, знаю. Что ты сердисься из-за странных взглядов у вас в движении по поводу девушек. Никогда я не слышал, чтобы парень относился к половому вопросу так, как ты мне об этом рассказывал. Это относится к монахам и священникам. погоди, Саул, чего ты бежишь, как сумасшедший? Я тебе говорю, ты умно сделаешь, если оставишь твое странное движение, и как можно быстрее. Саул! погоди! Я не поспеваю за тобой! Что ты так бежишь? Я думал, что ты уже оставил это странное движение, и потому предложил тебе пойти к Эльзе. Это стоит сделать. Стоит! Не беги так, прошу тебя! Я был уверен, что ты уже оставил движение, и можешь пойти к Эльзе.

Саул останавливает велосипед, расстояние между ним и Изослечером сокращается. Остановился Саул не из-за Изослечера, а из-за стыда. Ему стыдно, что он открыл Изослечеру душу, рассказал о намерении покинуть движение. Изослечер единственный, который знает этот секрет. И выболтал ему Саул в минуту сильнейшего отчаяния, после великой ссоры с дядей Филиппом. После судьбоносной беседы в подразделении, дядя Филипп узнал о решении, пришел поздравить Саула и торжественно назвал его, не более, не менее, – «избранником». И этим вызвал гнев Саула, и он кричал в радостное лицо дяди, что никогда не поедет в Израиль, его вообще не интересует молодежная репатриация, и ни на какую усадьбу для подготовки к этой репатриации он не поедет. Дядя не особенно прислушался к этому решительному отрицанию, и сказал сухим спокойным голосом, что Саул еще как поедет на подготовительный курс, и, несомненно, репатрируется в страну Израиля. Скандал вышел большой. Саул выскочил из дома, дрожа от гнева. В переулке, у лип, стоял с ощущением внутреннего покоя Изослечер и

читал объявление – «Опасно! Идет стройка!» Все вокруг выглядело столь жалко, столь безнадежно – пустая бетонная площадка, закрытый киоск Отто, ветер, бьющий по липам, и Саул не знал, что делать с собой, со своим отчаянием и гневом, и тогда обратился к Изослечеру.

– Иисусе, Саул. Я видел доктора входящим к вам, и ты выскочил оттуда ужасно сердитый. Что случилось? Ссора с доктором? Ты что, вышел из себя из-за этой высохшей селедки?

Саул успокоился и раскрыл душу Изослечеру. И вот это аукнулось предложением насчет Эльзы...

– Куда ты так бежал, Саул? Не начинай снова бежать. Я больше не могу. Куда?

– К Отто.

– Саул, я говорю тебе: Отто это хорошо. Отлично. Но... Сначала усладим душу. Отто в порядке, только слишком много говорит. А я голоден. Давай поедем.

– Нет.

– Саул, погоди. Я что-то забыл. Важное.

– Что ты забыл? Быстрей.

– Иисусе, Саул! Вылетело из головы. Когда я вышел из дома солдат армии Христовой, прошел мимо католической церкви и не перекрестился перед распятым Иисусом. Мне надо срочно вернуться туда. – Лицо Изослечера выглядит несчастным.

– Ты клерикал! Всю жизнь будешь тянуться за поповской рясой.

– Нет, Саул, нет, погоди, дело не в священнике, а в моей покойной матери, что учила меня разным пустячным обетам. Говорила: «Проходя мимо распятия, перекрестись. Если нет, заберет тебя преисподняя, и сгоришь ты там, в адском пламени». Ты должен меня понять, Саул.

– Иди с миром.

– Идем со мной, Саул.

Саул не намерен вообще отвечать Изослечеру на его просьбу. Он даже намеревается сесть на велосипед, несмотря на то, что шоссе покрыто льдом, и ехать по нему нелегко. Но Изослечер не дает ему двинуться, держится за велосипед.

– Не уезжай. Говорю тебе, не стоит этого делать. Ты еще не слышал о большом скандале, который разразился ночью в переулке.

– Скандал? У кого?

– Между Тильдой и старухой, матерью покойного Хейни.

Саул уже перекатил велосипед по другую сторону улицы, где высится католическая церковь.

– Откуда ты знаешь?

– Услышал у Флоры. Вечером зашел к ней нарубить дров для плиты, пропустить рюмочку и заработать гроши, чтобы оплатить койку на ночь в доме армии Христовой. Стою у раковины, мою посуду в горячей воде, Флора наводит порядок в кухне, и вдруг в кухню врывается Тильда, как злой дух, и осыпает проклятиями старуху, мать убитого Хейни. Как ты полагаешь, вчера старуха приходит с собрания в память сына, и Тильда встречает ее проклятиями, разве это не скандал! Уши вянут.

– Ну, рассказывай. Ближе к делу.

– Не дай Бог, Саул. Сначала надо перекреститься. Я пал духом от того, что забыл это сделать перед распятием. А когда я падаю духом, то рта не могу раскрыть. Верь не верь, просто не в силах это сделать.

Так, разговаривая, они доходят до подвала Ганса Папира. Над подвалом ветхая вывеска развевается на ветру:

Взлети же в небо, взмахни крылом,
Неси нам, птичка, радость в дом,
Пой нам, птичка, звучней, чем лира,

В магазине Ганса Папира.

Эта вывеска потеряла смысл: давно исчезли из подвала клетки с птицами. Давно Ганс Папир не зарабатывает на певчих птицах. Он теперь офицер в армии Гитлера. Девушки собрались у подвала Ганса и пытаются заглянуть в его комнату, хихикая и излучая симпатию.

– Сейчас Ганс выйдет, – уверенно вещает Изослечер, – увидишь, сейчас появится!

Но он не выходит. Только сердитый голос жирной госпожи Шенке вырывается в переулок:

– Дранные кошки в вонючих платьях, убирайтесь от моего подвала! – Госпожа Шенке уже стоит на выходе, ее большие груди колышутся от гнева. – Кыш! Кыш! – Словно госпожа Шенке хочет вторгнуться своим огромным жирным телом в клубок хихикающих девиц. Они убегают. И Саул вежливо приветствует госпожу Шенке. Она ведь безмужняя, не вернулся он к ней, где-то проходит воинские учения в глубинах Германии, в войсках Гитлера, в подразделении под командованием Пауле. Таких безмужних жен сейчас в переулке немало.

– Она из наших, – говорит Саул Изослечеру.

– Из наших... Но, Саул, как ты можешь отрицать, что Ганс Папир жирует. Я тебе говорю, еще как жирует! Получает в месяц триста марок полноценной монетой, Саул.

Порыв ветра швыряет в них комки влажного снега. Оттирая лица от холодного снега, они вышли из переулка к липам, веревочному забору и красному фонарю, который уже погашен. По ту сторону лип – улица, ведущая к католической церкви. Раньше она была многолюдной, по ней сновали автобусы и трамваи. Сейчас рельсы покрыты глубоким снегом, так что даже следы их нельзя обнаружить, и только посреди улицы забастовщики поставили закрытый трамвайный вагон, чтобы преградить путь трамваям, ведомым штрейкбрехерами. На трамвае раскачивается плакат: «Позор штрейкбрехерам!»

На тротуарах много людей. Снег сминается ногами, и потому очень скользко. Черный пепел рассыпан на тротуарах и шоссе, чтобы можно было по ним двигаться. Улица расчерчена черными полосами по белому снегу, и из этих полос как бы вырастают тележки мелких продавцов, небольшие лавки, полицейские машины курсируют в обе стороны. Группы людей на каждом углу, а воздухе голоса, несущиеся со всех сторон.

– Галстуки! Галстуки! У меня покупают все великие кинозвезды!

– Шесть миллионов безработных в Германии! Только революция нас спасет!

– Передвижная больница для собак! Люди, стойте! У меня делается все! Стрижка! Кастрация! Умерщвление без боли! Приходите ко мне с вашими страдающими любимцами!

– Забастовка эта полезна! В конце концов, объединились все, желающие изменить существующий порядок!

Саул и Изослечер останавливаются перед самым большим магазином на улице – универсамом, где можно найти все, что душе угодно – от платьев и брюк до игрушек и домашней посуды. Красавица под зеленым деревом несет на плече огромную пепельницу. Легкие сигареты «Флора» – приятные и успокаивающие! Всего два пфеннига за сигарету «Флора»! Около рекламы сигарет «Флора» огромный плакат: «Ролекс»! Проверенное лекарство против запоров. Всегда в продаже!» Рядом еще одно большое объявление: «Здесь все продается в рассрочку – небольшими месячными платежами!»

– Иисусе! – вздыхает Изослечер. – Все можно достать у Исидора, а человеку одного не хватает – денег. Только денег.

– Откуда у него имя Исидор? Ты что, не знаешь, что имя хозяина универсама Лео Зелингер?

– Конечно, Зелингер, Саул, но все его тут зовут – Исидор.

– Это его так зовут антисемиты. И ты... хочешь говорить, как эти антисемиты?

– Что это означает – антисемит? Тебе привычно пользоваться этими длинными словами. Ты – профессор. Но я не понимаю их смысла.

– Ай, кто пришел? Кто пришел?

Снежок ударяет в потрепанное пальто Изослечера. Ватага подростков топчется вокруг него. Фигура Изослечера знакома во всех переулках.

– Поглядите, какое странное существо, обломок с допотопных времен!

И снова плотный снежок – прямо в голову Изослечера. Саул толкает велосипед в руки Изослечера, не слушая испуганные выкрики друга. Не будет такого! Не смеют унижать человека, опекаемого Саулом.

– Саул, остынь. Какое тебе дело до этих бандитов? Я еще не перекрестился, Саул. Не дай Бог, случится катастрофа. Я тебе говорю. Погоди, пока я осеню себя крестом.

Но Саул уже вступил в бой. Медленно приближается к жожаку ватаги, коренастому парню, примерно, такого же роста, как и Саул. Руки его сжаты в кулаки. И парень тем же готовится его встретить. За его спиной стена подростков, тоже в боевой стойке. Саул один, но не боится. В Движении он отличился на уроках джиу-джитсу. Вперед! Получает удар в грудь, не то, чтобы сильный. На миг перехватило дыхание. Опьяненный победой, противник готовится ко второму удару.

– Дай ему, Антон! Дай ему! – визжат подростки. Изослечер закрывает глаза.

Но Антон уже барахтается в снегу. Саул схватил его, применив прием, которому научили его для того, чтобы защищаться в Израиле от нападающих арабов. Выясняется, что этот прием хорош и здесь. Физиономия Антона уткнулась в снег, рука Саула на его затылке. И уже вокруг них собралась толпа, помогают советами, одни – Саулу, другие – Антону. Подростки забрасывают Саула снежками, но боятся к нему приблизиться.

– Полиция! – кричит Изослечер.

Полицейские не любят скопления людей в эти дни, и тут как тут, с обнаженными нагайками. Толпа разбегается. Саул оставляет Антона, и тот убегает вместе с подростками. Саул отряхивает куртку от снега, Изослечер хлопает его по спине и говорит ему, своему работодателю, с удивлением и обожанием:

– Я говорю тебе, Саул, ты – герой. Настоящий герой.

Герой! Саул оскорблен. Герой это Буденный. Герой – Трумпельдор. Колебания и мучительные переживания. Что не минута – то новая неприятность. Молодежная репатриация! Что с ней делать?

Изослечер истолковывает хмурое и несчастное выражение лица Саула по-своему:

– Они тебе сделали больно? Подонки. И вся эта война ради меня? Ну, правда, все это из-за меня. – Изослечер качает головой.

– Что за война, какая борьба! – кричит Саул. – Я помогаю всем, кто нуждается в помощи. Это закон Движения, и больше ни слова.

– Помогать каждому? – в изумлении чешет Изослечер свою растрепанную голову. – Нет, Саул, это глупость. Ничего у тебя не получится. Людей надо остерегаться, а не бежать им на помощь. Очень странные типы в твоём Движении. Слава Богу, что оно уже не твое... только...

– Сказал: больше ни слова. – Саул ускоряет шаг.

На этот раз Изослечер по-настоящему удивлен. Не может понять, в чем его вина, и чем он вызвал гнев своего работодателя. Слава Богу, дошли, наконец, до католической церкви и распятого Христа. Изослечер быстро крестится.

– Что же все-таки произошло между Тильдой и матерью Хейни? – не оборачиваясь, спрашивает Саул.

– Дело волнующее, но как я расскажу на пустой желудок. С утра ни крошки во рту. Поедим, и расскажу.

Каменная скамья у входа. Стены украшены многими святыми, высеченными в камне. Все усмеваются, глядя на Изослечера и шуршащую бумагу, в которую мать Саула завернула ломти хлеба с колбасой «салами». Изослечер набрасывается на еду, набивая рот и чмокая.

– Ешь с закрытым ртом, – поучает его Саул.

Но Изослечер слишком занят, чтобы внимать Саулу и, тем более, выполнять его указания. Он еще жует, а рука тянется за следующим ломтем. Саул прикрывает еду рукой. – Так что же случилось между Тильдой и матерью Хейни?

– Ах, Саул! Еще успеешь выслушать. Большой и страшный скандал, ты слышишь? Выяснилось, что первенец Тильды, этот парень с лицом, словно из белой и тощей глины, который считался первенцем Хейни, вовсе не его сын, а внебрачный ее ребенок, и Хейни не знал, что кукушка подкинула яйцо в его гнездо, и мать его тоже этого не знала. А теперь можно мне еще ломтик?

– Бери.

– Все это слышал из уст самой Тильды. Правда открылась во время вчерашней ссоры между нею и старухой-матерью. Тильда собирается в этом месяце выйти замуж за Кнорке, этого, у которого мозоль. Тут мать и напала на нее: «Что будет с детьми Хейни?» Тильда и ответила, что дети Хейни останутся с их матерью, и первенец ее, который вовсе не сын Хейни, а какого-то господина, пойдет с ней к Кнорке, который обещал из него тоже сделать господина, а не какого-то грязного рабочего, каким был Хейни.

– И что ответила мать?

– Этого не знаю. Тильда в кухне кричала только о том, что она выдала матери, и не сказала, что ответила мать. И если мать захочет отобрать у нее детей Хейни, Тильда вообще выгонит ее из квартиры, и та на старости останется ни с чем.

– Прямо таки! – сердится Саул. – Глупости! Как она выгонит ее из квартиры, в которой та всю жизнь прожила с мужем, когда он еще учился в вечерней школе имени Бебеля и участвовал в подполье в дни социалистов. Это ее квартира. И Тильда сможет ее оттуда выгнать?

– Не знаю как. Знаю лишь, что Тильда и Кнорке во всем преуспеют. Я тебе говорю, Саул, в такие дни, как теперь, именно они преуспеют во всем.

– Чепуха! Глупости! – впадает в ярость Саул и тяжелыми ладонями прикрывает ломти хлеба. – Теперь ты будешь шататься по переулкам, и сплетничать по поводу старухи-матери.

– Упаси Бог, Саул. Я как банковский сейф. Клянусь жизнью.

– Что ты?

– Банк, Саул. Храню все, как в закрытой коробке. Дашь мне еще один ломоть?

Дает ему Саул еще один ломоть с колбасой «салами». – Вставай. Ломоть доешь в пути. Времени нет. Идем к Отто.

Именно в это время, когда они вернулись в переулок, Ганс Папир вышел из своего подвала. Весь в ремнях и сверкающих блеском сапогах. Глаза всех обращены на него. Безработные, которые начали лепить новых снеговиков, прекратили работу. Женщины подтягивают темные свитера почти до лба, от чего глаза их темнеют. Все замирают. Ганс шагает твердой походкой, весь вычищенный и вылизанный, одаряет всех вежливыми взглядами, козырек коричневой фуражки сверкает даже в слабом свете серого утра. Ганс направляется в трактир Флоры, и его слепящие блеском сапоги оставляют следы на снегу. У входа в трактир он встречается с Эгонном, который ждет его здесь битый час. Сержант Эгон вытягивается по стойке смирно перед офицером Гансом, щелкая каблуками.

– Хайль Гитлер!

Переулок сотрясается эхом.

– Пошли!

Изослечер стоит сзади, не отрывая глаз от обоих.

– Что ты занял стойку смирно, как упрямый осел? Пошли к Отто.

– Ах, Саул, ты не можешь отрицать, что они взяли жизнь в свои руки, крепко взяли.

Пикет забастовщиков входит в переулочек: двое мужчин в темных штанах для верховой езды и таких же темных фуражках. На рукавах зеленых курток повязки с буквами – О.К.П. – Объединение коммунистических профсоюзов. Ганс и Эгон обмениваются с ними короткими кивками. Они встречаются здесь, чтобы вместе пикетировать. Трактирщик Бруно открывает им двери. Все четверо входят внутрь. Дверь с треском захлопывается.

– Да, Саул, – говорит Изослечер, – теперь они пьют кофе у Флоры. Я говорю тебе, настоящий кофе, из самых превосходных. Я говорю тебе, эти и эти берут все от жизни, нацисты и коммунисты вместе.

– Вместе?! – Саула охватывает гнев. – Как это вместе?! Их товарищество не более, как перемирие, вызванное созданным положением. Цель оправдывает все средства, понимаешь? А цель – уничтожение всех фашистов и социал-демократов, вместе взятых. Ни один из них не останется живым в Германии.

Саул говорит, не поворачивая головы, Изослечер тянется за ним. Саул обращается не к нему, а к самому себе, и его вовсе не трогает, что тот не согласен ни с одним его словом. Забастовка эта приносит Саулу боль, скрежет души. Терзает ее множество сомнений, и не помогает, что он возвращается к золотому правилу: не задают вопросы во время кризиса, и особенно кризиса, связанного с рабочим классом! Но не отступает боль, вызванная этой совместной забастовкой. Это вызывает омерзение. Ко всем остальным неприятностям и колебаниям это несет особую горечь. Саул передвигается по снегу медленными шажками, словно бы тяжелый камень привязан к его ногам, и он пытается от него освободиться, и не может, волочит его за собой.

– Что ты так ползешь, Саул? Поторопись. Зайдем к Отто немного согреться.

Отто перенес киоск с окраины переулочка в коридор своего дома на другом конце переулочка. Стужа свирепствует, Отто не может выстоять на улице, продавать газеты и произносить речи. Дом, в котором он проживает – нищее и грязное жилище, набитое жильцами от подвала до чердака, но вход в дом достаточно широк, отремонтирован и приятен. В коридор ведет хорошо утепленная двойная дверь. Этот коридор Отто и приспособил под газетный киоск. На большом столе, взятом из столовой, разложил газеты, баночки с сигаретами и жевательной резинкой. Из-за полумрака, все время царящего в коридоре, повесил в нем большую газовую лампу, дающую кроме света тепло. Новая лавка Отто всегда забита людьми. Люди из всех переулочков приходят сюда – послушать последние новости. И сейчас Отто в курсе всего, что творится в переулочке. Ничего он не потерял, перенес киоск с одного конца переулочка в другой. Любая новость прокладывает путь в лавку Отто.

– Стереги мой велосипед, – приказывает Саул Изослечеру. В лавке Отто нельзя оставлять велосипед без присмотра.

– По цене? – спрашивает Изослечер.

– ...Всего хлеба в рюкзаке.

Изослечер остается с велосипедом в углу коридора, Саул проталкивается к Отто. Не так это легко. От сумятицы голосов гложут барабанные перепонки. Дети скользят по поручням лестничных пролетов дома, наполняя его визгом. Голоса судачащих женщин летят вдоль всех стен. Клиенты Отто забили каждый пустой угол, сидят на ящиках, у стен, на ступеньках, толпятся вокруг большого стола с газетами. В воздухе хоть топор вешай. Отто суетится от угла до угла, от продажи к продаже. От беседы к беседе, силится хотя бы немного навести порядок в этом шуме, и голос его звучит поверх всех остальных голосов.

– А-а, униженные и оскорбленные, зима расширяет вашу плоть, и разрыв между кожей ваших одежд и вашей плотью, примерно, удвоился. – Отто никак не удается начать речь так, как бы ему хотелось. Все мешает. Здесь кто-то откашливается, так кто-то громко сморкается,

там кто-то чихнул, здесь завизжал. Смех, и болтовня, и пение девушки, поднимающейся на второй этаж.

Мой любимый Фрици,
Только без амбиций,
В память давних ночек
Выходи в лесочек.

Саула Отто приветствует коротким кивком, торопясь к столу, чтобы привести в порядок газеты, раскиданные теми, кто брал их лишь для того, чтобы ознакомиться с последними новостями и положить их на место. Наконец-то Саул добирается до Отто. На столе груды газет «Красное знамя». В большой статье памяти Хейни новый развернутый рассказ об убийстве литейщика Хейни. Под его портретом – фото убийцы Эмиля Рифке, офицера республиканской полиции, сидящего сейчас в тюрьме.

– Я знаком с этим офицером, – указывает Саул на снимок.

– Каким образом, товарищ? – снова Отто не обращается к нему, как прежние годы – «мальчик». Со дня, как Саул попал в тюрьму за распространение листовок коммунистической партии, «мальчик» превратился в «товарища». И это изменение доставляет Саулу большую радость. – Откуда ты знал этого офицера, Саул?

– В доме моих знакомых, Отто, знакомых дяди Филиппа. Офицер был женихом девушки, которая теперь – невеста дяди Филиппа.

– Как это, товарищ Саул? Офицер был женихом девушки, что сейчас невеста доктора? Не могу понять.

– Просто, Отто. Офицер перестал быть ее женихом, и его место занял дядя Филипп.

– Минутку, товарищ Саул, минутку. То есть этот офицер был женихом девицы, которая теперь невеста доктора. Так это она живет у него последний год...

– Нет, нет, Отто. Не эта. Та девушка вообще никогда у него не жила. Дядя Филипп приходил к ней в дом, и там я увидел этого офицера, что тогда был ее женихом...

– Извини меня, товарищ Саул, я не улавливаю ничего. Кто, в конце концов, жених девушки, офицер или доктор? И что в отношении этой девушки, которую я только вчера видел входящей в дом доктора? Сколько у доктора невест?

– Сколько? Откуда я знаю, сколько. – Саул изо всех сил пытается объяснить Отто это дело. Ломающийся его голос, что все еще переходит от низких к высоким тонам, делается совсем свистящим. – Единственно, что я точно знаю, это то, что невеста офицера теперь – невеста дяди. Это я знаю абсолютно точно.

– Нет, – Отто перебрасывает свой головной убор сбоку набок, – нет, товарищ, тут какая-то ошибка с твоей стороны.

– Да нет же, Отто, нет, – свистит Саул, – никакой ошибки с моей стороны тут нет. И вовсе не важно, что эта девушка вошла в дом дяди. Вероятно, дядя Филипп за свободную любовь, и у него есть и девушка и невеста.

– Нет! – безапелляционно постановляет Отто. – Нет, товарищ Саул. Это невозможно. Или девушка или невеста. Я хорошо знаю доктора. Он не сторонник свободной любви.

– Почему нет, Отто? Все прогрессивные люди за свободную любовь. Не все в порядке у дяди Филиппа, но он человек прогрессивный, Отто.

– Но не до такой степени, товарищ. Доктор все же интеллигент, придерживающийся буржуазной морали. Извини меня, товарищ Саул, но это – вся правда о докторе. Он не за свободную любовь. И если ты, товарищ Саул, был знаком с невестой офицера, а через нее и с ним, выходит, что он единственный и есть жених девушки. Так обстоят дела, товарищ Саул.

– Нет, нет, вовсе не так обстоят дела, – пытается Саул безуспешно объясниться, уже совсем отчаявшись, – как может эта девушка быть невестой офицера, если она еврейка. Именно поэтому она сейчас невеста дяди Филиппа.

– Что, товарищ Саул? Невеста – еврейка? Вот оно – доказательство! – выпрямляется Отто, упирается руками в стол и обращается ко всем в коридоре, и все до того напряжены, что поворачивают к нему головы, и тишина воцаряется по всему коридору. – Вот, доказательство. – Отто повышает голос. – У офицера Эмиля Рифке, убившего Хейни сына-Огня и устроившего кровопролитие в городе Альтона, невеста еврейка! Вот вам доказательство, что офицер – социал-демократ! Товарищи пролетарии, прочистите ваши уши, и поймите! Социал-демократ! Прусский офицер посылается социал-демократическим правительством в Альтону подавить восставших пролетарских борцов, после чего осмеливается это низкое социал-демократическое правительство сделать мерзкий ход, – поставить своего полицейского офицера, убийцу, у входа в штаб борющихся коммунистов и объявить этого подонка коммунистом, действовавшим от имени коммунистов. Товарищи пролетарии, мир, в котором творятся такие дела, это гадкий мир! – Отто сильно ударяет кулаком по столу. – Выходите на улицу. – Приказывает он. – Были бы людьми, а не жалкими существами, можно было бы приблизить день, когда дела в мире будут разумными, и не будут скакать верхом на ваших спинах офицеры полиции социал-демократы, да, да, говорю я вам, выходите на улицы вести борьбу.

Отто утыкает лицо в платок, будто ему стало жарко. Саул слушает его в напряжении, до прерывающегося дыхания. Странное это напряжение, явно вызванное смятением. Нет! Не все правильно в речи Отто. День одних неприятностей. Даже речь Отто не удовлетворяет его, и он не может смолчать:

– Отто, я ничего не понимаю. Офицер – социал-демократ, и, конечно же, послан ими, а не нами, но не из-за того, что невеста его еврейка. А если она не еврейка, так он не социал-демократ? И что, нет коммунистов, у которых невесты – еврейки, Отто?

– Есть, товарищ Саул. Да, причем тут невеста? Не говори глупости, когда речь о серьезных делах.

– Почему же ты говоришь, что невеста офицера, будучи еврейкой, доказывает, что он социал-демократ?

– Мальчик, ты ничего не понимаешь. Ничего.

Саул оскорблен до глубины души. Не из-за гадкой выходки Отто, а из-за того, что тот снова назвал его «мальчиком»! Саул чувствует, что должен не отступить и отстаивать свою правду, обрести в голосе металлические нотки, а не свистеть ломающимся с низких тонов на высокие тона, голосом.

– Отто, ты не прав. Ни в чем не прав. Офицер давно уже не жених этой девушки, и вообще не имеет никакого значения, кто сейчас ее жених, дядя Филипп или не дядя Филипп. Во всяком случае, офицер уже не ее жених. И это потому, что в доме все говорят, что офицер – нацист. И это говорят все, кто его хорошо знает, что он вообще не социал-демократ, а нацист.

– Мальчик! Я...

– Офицер, убивший моего сына, – нацист! – Голос приходит от входа в коридор, пресекая слова Отто. Слова летят, как свинцовые пули, заставляющие всех замолчать. Уже много времени старуха-мать Хейни стоит в коридоре. Никто ее до сих пор не замечал. Стоит и слушает диалог Саула и Отто. Пальто у нее распахнуто, и платок неряшливо набросан ей на голову. Ее карие, молодые глаза уперлись в Саула, и он опускает взгляд в связи с уже известным ему скандалом, который утром уже стал достоянием всех сплетников. Старуха ударяет палкой по каменному полу коридора. Отто даже не обратился к ней с добрым утром.

– Офицер – нацист, – уточняет она, – все кричат против республики. Вы кричите: ваш офицер! А ваши противники кричат: ваш офицер! Эти на тех, те на этих! Когда мой Хейни был убит, вы кричали: он наш! А те кричали: он наш! Эти на тех, те на этих!

Теперь снова.

– Хейни был наш! – вперяет Отто в старуху гневный взгляд. – наш, потому что убила его республика. Ты можешь это отрицать?

– Чепуха! Не республика убила Хейни. Офицер полиции, нацист Эмиль Рифке убил его. Мой муж был за республику и погиб за нее. Я за республику, и сын мой был за республику и во имя ее погиб. Я не такая умная, как ты, Отто, но муж мой всегда говорил: «Я за республику, за свободу. И Хейни был за республику. И любил свободу. Он не был вашим, Отто, потому что вы душите свободу».

– Свобода! – вскрикивает Отто. – Ты говоришь о свободе в этой республике? Свобода голодать, свобода убивать, свобода эксплуатации, свобода всякой мерзости? Твой муж и сын были за такую свободу?

– Они были за свободу жить! – отвечает негромко старуха, – когда дают расти на свободе, прорастает много сорняка и ядовитых грибов. Но лучше такое произрастание, чем острый нож, уничтожающий любое растение, которое кому-то не по вкусу и запаху. Это справедливо, чтобы произрастали сорняки? Вот, вы и есть эти сорняки. Вы, да, да, вы. И никогда мой Хейни не был вашим! – И она делает презрительный жест рукой в сторону газеты Отто с большим портретом ее сына.

– Как это так, старуха? Что это за разговоры, когда борьба в разгаре?!

– В разгаре? Что это за борьба! Совместно с нацистами.

– Это политический маневр, старуха. Не каждый ум ухватывает пути политики.

– Если такова политика, Отто, нет у меня никакой доли и места в ней. Она меня не интересует. Я ищу правду, Отто, ты ведь человек чести. Вот и поддерживай тех, кто ищет правду.

– Какую правду?

– Дело офицера Эмиля Рифке.

– Какой смысл искать правду, старуха?

– Дело за малым. Не может быть такого, чтобы говорили о моем сыне, верным республике, что республика его убила. Офицер не был послан республикой. И в кровавых беспорядках в Альтоне он тоже не участвовал от имени республики. И если ты не хочешь помочь мне добиться правды, я сама ее добьюсь, Отто.

– Ладно, старуха, – отвечает Отто с какими-то нотками сомнения в голосе. – Для тебя я поговорю с доктором об офицере. Мальчик говорит, что доктор хорошо его знает.

– Мальчик, – старуха кладет руку на плечо Саула, обернувшись к нему лицом, изборожденным морщинами, – где этот дом, в котором ты встретился с офицером полиции Эмилем Рифке?

– Дом Леви, на площади...

– Леви... С фабрики «Леви и сын»?

– Да. Гейнц Леви – приятель этого офицера, а Эдит Леви...

– Гейнц Леви? Молодой хозяин? Он был другом моего сына. Я обращаюсь к нему. Еще сегодня обращаюсь.

– Ты сошла с ума, старуха? Как ты доберешься до этого далекого пригорода?

– С Александерплац выходит трамвай до фабрики под охраной полицейских.

– Старуха, старуха! Совсем тронулась. Ты что, нарушишь забастовку? Ты!

– Эта забастовка приказывает нарушить ее, Отто! – Она оборачивается к нему спиной и уходит.

Душой Саул со старухой. Завеса враждебности отделяет его от людей, собравшихся в коридоре. Даже Отто находится по ту сторону этой завесы. Чиханье Изослечера приводит его в чувство. После ухода старухи он поднимается на первый этаж. Он пуст, только кот дремлет в углу. Саул сел на ступеньки, ожесточенно расчесывает свою шевелюру. Двери закрыты. Справа, дверь к акушерке, слева – к прачке, а прямо перед ним, посреди этажа, дверь в квар-

тиру тряпичника Шульце. Саул сидит, наедине со своим отчаянием и смятением. Напрягает мозг, чтобы как-то оправдать Отто. В эти дни не должно быть места сомнениям! Не задают вопросы в период кризиса! Все еще весь охвачен сомнениями, но его лихорадит, мысли путаются. Молодежная репатриация и ужасная забастовка, ближайший уход из Движения и правда об Эмиле Рифке, Отто и старуха-мать, собирающаяся нарушить забастовку... Саул охватывает пылающую голову. Время действовать! Закончить с Иоанной! Оставить Движение! Вторично сообщить дяде Филиппу о том, что он не поедет готовиться к репатриации! Немедленно сообщить дяде! Саул вскакивает со ступенек. Может быть он найдет дядю дома? Есть такие дни, когда дядя работает дома. Саул свистит Изослечеру, который подчиняется свисту, принятому в Движении, по мотиву песни «Нет муки – нет ученья».

Саул бежит, не глядя по сторонам.

– Что ты так бежишь, Саул? Что случилось? Почему надо так бежать?

– Стой здесь, у входа, и присматривай за велосипедом. Каждый час – одна марка.

Голос Изослечера еще слышится в пустом лестничном пролете, а Саул уже нажимает кнопку звонка. Слышны шаги дяди. Саул отирает пот с лица.

– Что случилось? – спрашивает дядя. – Что-то произошло в доме?

– Нет. Я хотел с тобой поговорить.

– Отлично. Хотя я очень занят, но... заходи.

Саул вытягивается в рост, несмотря на то, что стужа с трудом дает разогнуться. Но он не пропускает случая показать дяде Филиппу, что ростом с ним вровень. Но нет сейчас у дяди времени обращать на это внимание. Он нервничает. Губы сжаты, сильно морщит лоб, поводит плечами и уходит в свой кабинет. Саул снимает свою мокрую куртку, и оглядывается по сторонам. Может, дядя нервничает из-за Кристины? Но глаза Саула проворны, тут же видят: Кристины нет. Если она вчера к нему входила, значит покинула его рано. Толстый слой пыли покрывает мебель в гостиной. Когда Кристина здесь жила с дядей, пылинки не было на мебели. И запах в квартире обычный, смутный. Исчезли запахи духов Кристины. Саул спокойно снимает мокрую обувь. На скрип двери дядя Филипп едва поворачивает голову. За большим письменным столом в кабинете сидит дядя, толстая папка раскрыта перед ним, и он что-то выписывает из нее. Откладывает ручку, и отпивает из рюмки. Бутылка коньяка стоит рядом с папкой. В комнате очень холодно. Печь не затоплена.

Дрожь проходит по телу Саула. Хотел бы тоже согреться рюмкой, но останавливается. Он все еще член Движения!

– Холодно у тебя, – садится он в кресло, – очень холодно.

– А, да, – откладывает дядя ручку и делает глоток, – я не вызвал служанку, чтобы она затопила печь, потому что скоро я выхожу на весь день и всю ночь. В доме Леви наша обычная ежемесячная встреча. Гейнц тверд в своем решении провести встречу, несмотря на забастовку. Я и переночую в доме Леви. И тебя что привело ко мне?

После лихорадочного смятения, голова Саула опустошена, и ему нечего сказать дяде. От множества вещей, столь важных, которые он хотел сообщить, ничего не осталось. Кроме осунувшегося лица и усталых глаз дяди, словно он окружен сплошными неприятностями. На пальто его не хватает пуговицы. Значит, вчера Кристина не пришла ухаживать за дядей. Многого изменилось у дяди Филиппа, и Саул ловит себя на том, что больше думает о дяде, а не о себе.

– Ну, парень, в чем дело?

– А, да, дядя Филипп. Если ты сегодня будешь в доме Леви, можешь спросить... Очень важную вещь, дядя Филипп? Об Эмиле Рифке.

Боже ты мой, как неожиданно изменилось лицо дяди. Выражение хмурости и омерзения.

– Что тебе до Эмиля Рифке? – решительным голосом спрашивает дядя.

– Отто тоже придет к тебе спросить о нем, – заикается Саул, – хотят знать всю правду об этом офицере. Кто он на самом деле: социал-демократ, нацист, коммунист? Гейнц и Эдит, несомненно...

– Никто не знает, мальчик. Никого это не интересует.

Вот и дядя неожиданно называет его «мальчиком».

– Что-то еще тебя тревожит, мальчик? – дядя откидывается на спинку стула.

– Да, да! Ты думаешь, что я пришел к тебе из-за этого офицера? Не из-за него. Из-за молодежной репатриации...

– А, хорошо, что пришел, парень. Я об этом совершенно забыл. Я уже выбрал усадьбу. – Дядя перебирает бумаги в ящике, извлекает несколько листов с отпечатанным текстом. – Надо подписать договор с организацией молодежной репатриации. Передай матери, что завтра я зайду к вам уточнить детали. Не забудь.

– Не завтра, – вскрикивает Саул, – еще один день! Один день! – Он не отрывает взгляда от букв, которые тянутся густым рядом строчек, и невозможно их сдвинуть.

– Что случилось, Саул? Что за спешка? Это лагерь для подготовки к репатриации открывается не завтра. Только весной вы будете туда направлены. Твоя кандидатура обеспечена.

– Нет! Нет! Не поеду туда! Я не хочу репатриироваться!

– Ну, ладно, парень, не хочешь. А то ты хочешь?

– Научиться профессии... плотника.

– Где?

– Здесь, в Германии, естественно.

– Где, я тебя спрашиваю?

– В Германии, я же сказал тебе.

– Если так, ищи себе место работы. Помочь в этом я тебе не смогу. Таких мест нет. Миллионы безработных, миллионы юношей болтаются без дела, а ты думаешь, что такого, как тебя, ждут с распростертыми объятиями, еврейского парня с именем Саул?

– У меня есть работа. Есть заработок. И кто побеспокоится об отце и матери, когда я уеду?

– Ты хочешь заниматься куплей-продажей, Саул? Вырасти и ничего не знать? Об отце и матери я побеспокоюсь. Езжай в Израиль, Саул, в кибуц. Подготовь дом для родителей.

– Нет! Нет! Не поеду, дядя Филипп, не поеду!

– Что случилось, Саул? Ведь ты же член Движения?

– Нет! – Саул вскакивает из кресла, и прежде чем дядя тоже встал, выскакивает из комнаты и вталкивает ноги в мокрые ботинки.

– Саул, давай поговорим. Ведь мы же вообще не поговорили.

– Нет. Не понимаешь ты меня. Никто меня не понимает.

Дверь захлопывается. Куртка в руках Саула, и он медленно надевает ее на ходу, затягивает кушак, лицо его пылает.

– Надо совершить что-то решительное! Что-то решающее!

Ему надо совершить что-то, за что его отчислят из Движения, что-то такое, что остальные не смогут стерпеть. Если он это не сделает, никогда не решится покинуть Движение, никогда не сможет сказать в подразделении: я решил уйти. Если же нарушит все правила его устава, уход его будет прост и понятен. Вот, что сейчас требуется. Мужественный поступок. И тогда он будет достоин – присоединиться к коммунистической молодежи...

Саул перепрыгивает через две ступеньки. Все, кончились колебания!

– Уже пришел? – недовольно спрашивает Изослечер, ибо всего-то заработал одну марку: Саул даже часа не был у доктора.

– Дай мне марку. Пойду к Флоре согреть душу.

– Нет! Мы идем в трактир к Карлу Миллеру, в Голубиный переулок, выпить рюмку.

– Я и ты? – застывает Изослечер с открытым ртом. – Но употребление алкоголя запрещено.

– Заткнись. Пошли.

– Что ты бежишь, Саул? Иди, как человек. Я говорю тебе, Саул, если ты выпьешь, начнешь курить и заниматься девицами, будешь не таким нервным и не станешь бежать, как ненормальный, против ветра.

– Слушай, Изослечер, вечером, в девять, сможешь меня ждать у красного фонаря? Пойдем к Эльзе.

Ветер забивает Саулу дыхание, обвекает стужей, жжет замерзшие щеки. Город угрюмо дышит зимним утром в лицо. Начинается новая вьюга.

Глава пятая

Сутра свирепствует стужа.

В гостиной, у широких стеклянных дверей, стоит Гейнц и наблюдает за садом, охваченным вьюгой. Тяжелые полосы тумана набрасывают завесы со всех сторон, словно собираются что-то скрыть. Деревца гнутся, треща ветками.

Ранний час явно немилосердного, серого утра. Дрожь проходит по телу Гейнца. Скрывшись за складками зеленых, тяжелых бархатных портьер, он выпрямляется. Несмотря на ранний час, Гейнц готов к поездке, причесан, серый костюм сидит на нем без единой морщинки. Этой аккуратностью, упорядоченностью в одежде, выпрямленной спиной, он удивительно походит на покойного отца.

Гейнц привык вставать рано. В последние недели его одолевает бессонница. Время от времени он проводит рукой по усталым глазам, словно старается отогнать от себя картину одичавшего под ветром сада. За спиной слышатся обычные звуки просыпающегося дома. Льется вода из кранов, Фердинанд напевает под нос, попугай орет, ноги шлепают домашними туфлями по коридорам, посуда в кухне звенит, гудит электрическая кофеварка. Гремит китайский гонг. Фрида ударяет по нему со всей силы, созывая в небольшую чайную комнату на легкий завтрак. Гейнц опять выпрямляет спину, собираясь выйти из-за портьер, но возвращается и прижимает щеку к теплему бархату, продолжая смотреть на пустынный сад, словно ожидая, что снега отступят, и воздух снова станет прозрачным. А гонг все гремит и гремит. Этот симпатичный китайский гонг из тонкого позолоченного металла принесла мать. Она очень любила гулять по магазинам, искать необычные вещи. Отец сопровождал ее и выполнял любую ее, самую малую, прихоть, даже если она была в высшей степени странной. Наконец, они возвращались из этих путешествий по магазинам. У матери – темные глаза, посветлевшие от радости, отец – с кучей свертков с разными ненужными вещами. В гостиной дети ждали их, прячась в тяжелых складках портьер, или в нише за спиной статуи Фортуны, и с шумными восклицаниями неожиданно окружали мать.

Из всех странных подарков, которые приносила им мать, наиболее практичным был китайский гонг. Он оказался полезнее, чем африканский там-там, который наполнял дом глухими звуками, или вышитые болгарские рубахи, в которые она их облачала, или даже лисьи хвосты, принесенные из магазина меховых изделий, для игр. Китайским гонгом мать любила созывать всех. Она умела наигрывать на нем длинные мелодии, звуки для утреннего пробуждения и ночного засыпания, сигнал для купания в ванной, к трапезам и даже каким-то проказам. И дети выбегали на звуки гонга из всех уголков большого дома, где они прятались, бросали игру, интересную книгу или детскую перебранку, торопясь на призыв матери. Они очень ее любили, потому что она не была похожа на других матерей. Еще в детстве тень упала на любовь Гейнца к матери. Однажды отец и мать взяли его с собой в Силезию, в большой семейный дворец на холме, орлиное гнездо, которым семья очень гордилась. В этом дворце родился дед. В доме к их приезду царила большая суматоха. Отец купил матери роскошную одежду, и она выглядела истинной принцессой.

«Вход воспрещен! Частная территория!» – предупреждала надпись на столбе у тропы, ведущей к дворцу на холме. К входу в него – массивной дубовой двери – вели ступени широкой мраморной лестницы. И мать, казалось, становилась ниже ростом, и гордость угасала в ее темных больших глазах. Вся многочисленная семья вышла ее встретить. Дядя Герман, младший брат деда, похожий во всем на него, тетя Финхен, его элегантная жена, чье истинное имя – Йосефина, из семьи владельцев шелкопрядильной фабрики. Дядя Соломон, старший брат деда, первенец (умерший позднее от ракового заболевания челюсти), черты лица которого абсолютно отличались от дедовых. Его жена, Филиппина, похожая на мужа, как сестра на брата

строгим выражением лица, оберегающим ее собственное достоинство. Рядом с ними их сын Лео, который в молодости были диким и необузданным, но теперь был женат на тете Розе. У них была дочь, маленькая Елена. Огромный зал наполнился шепотом, когда вошла мать. Никто не удивился ее красоте, кроме дяди Лео, который откровенно любовался красавицей – женой Артура. Но кто обращал внимания на Лео? Тетя шептала уголком искривленного замкнутого рта, поднимающегося в сторону левого глаза, который из-за этого прищурился наполовину. Мальчик Гейнц удивился странному лицу тети Финхен, и таким образом уловил ее шепот в ухо тети Регины, на груди которой красовался крест, ибо мужем ее был судья-христианин, и затем шепот ее мужу, а мужа – дяде Соломону. Тот приложился к уху дяди Германа. Дядя Герман шептал тете Филиппине и тете Розе, а та – сыну Лео.

Фраза была короткой:

– Он привез ее «оттуда».

– Из этих средневековых, черных из черных...

Дядя Герман, глава этого дворца и фабрики по обработке хлопка, такой же высокий, как дед, но с гладко прилизанными волосами и выбритым лицом, повел мать в большой зал с галереей семейных портретов, поблескивающих маслом на стенах, портреты праотцев и праматерей, дядь и тетя, представить мать членам семьи Леви. За дядей Германом, на почтительном расстоянии, шли тети. Отец и остальные мужчины остались курить в комнате. Гейнц сопровождал мать. Сердце ему подсказывало, что она нуждается в поддержке в большом зале, среди всех этих представительных и требовательных глаз, вззирающих на нее со стен. Дядя Герман выпрямил и так прямую спину, придав своему голосу значительность и важность, и сказал матери: «Честь имею вам объяснить» – и все поколения утвердительно качали головами. Мать стояла перед портретом основателя рода Якова, в честь которого был назван дед, отец Артура. Он единственный не был написан маслом, а вырезан из черной бумаги и тенью висел под стеклом, невысокий, с большим животом и длинной бородой.

– Он пришел «оттуда», – сказала мать дяде Герману со странной решительностью в голосе. Все поколения повернули головы и глаза к ней: «Что за наглость!» И тетя Регина сделала несколько глубоких взволнованных вздохов, готовясь ответить матери. Но дядя Герман сказал своим громким голосом:

– Имею честь объяснить вам, Марта, ни один из членов нашей семьи не пришел «оттуда». Дядя Яков родился в гетто, в Берлине. Его праотцы пришли туда в дни великого светлейшего принца. Они были изгнаны из Вены в 1670 году по приказу злодея Леопольда Первого.

– А откуда явились праотцы дяди Якова в Вену, – заупрямилась мать, и дядя Герман ответил голосом, в котором решительность превысила торжественность:

– Откуда явились в Вену? Кто знает. Каждый когда-то приходит откуда-то. Кто знает. Праотцы нашего старика-отца Якова были среди пятидесяти аристократических семей, которые получили право въезда в Бранденбург, в город Берлин. Они жили там, в гетто, все пятьдесят этих семей. – Дядя Герман ожидал от матери удивления и даже изумления, но она молчала, и только рука ее теребила волосы на голове маленького сына.

– Почти сто лет жила семья праотца Якова в гетто в Берлине, и ничего большого и возвышенного до Якова не делалось. Он же выехал в Силезию, которая была оккупирована кайзером Фридрихом Великим, который дал право немногим евреям покинуть гетто и поселиться в этой новой области и заняться там торговлей. Спустя немного времени он уже имел возможность давать ссуды. Богатство его увеличивалось, и после себя он оставил в наследство многочисленным сыновьям деньги и имущество.

Тут дядя Герман повернулся спиной к тени предка Якова, и указал на его сына Соломона – Иеронимуса в форме гордого прусского юнкера – бархатном мундире, вышитом золотом. Сыновья Якова заняли почетные места в германском обществе.

Иеронимус получил разрешение сбрить бороду, снять темные одежды евреев с желтым лоскутом – унижительным знаком иудея, и носить одежды аристократов, и даже саблю. Вхож был в дома графов и аристократов, и, будучи губернатором области Силезии, повысил статус евреев. Он бы достиг более высокого статуса, если бы не необузданный темперамент, который понес его в карете к гибели. Соломон – Иеронимус, первенец основателя семейства Якова, и построил этот семейный дворец на месте скромного дома отца. Иеронимус крестил всех своих сыновей в церкви, сам же не сменил веры, чтобы не нарушить завещания отца своего Якова. В этом завещании тот ясно написал, что тот сын, который оставит веру отцов, лишится права на наследство.

– Существует такое завещание? – изумленно спросила мать.

– Существует, – пожал плечами дядя Герман, а за ним и все тети, стоящие за ним, пожали плечами, – ведь отец их Яков пришел из гетто. И чем помогло его завещание? Ведь все его сыновья приняли христианство, ибо отказались от наследства во имя человеческого уважения и чести. Сыновья Яков стали борцами за эмансипацию. Кроме дяди Натана... – дядя Герман сделал несколько шагов и остановился перед портретом человека с лицом, явно дающим поблажки себе подобным, обладателя напудренной косы, темной одежды, широкие полы которой перекрывали узкие брюки до колен, и сапог, доходящих до колен, – дяди Натана.

– Имею честь объяснить вам, что дядя Натан – единственный, который не крестился, потому что жена ему не позволила, – палец дяди Германа указал на портрет госпожи в широком кринолине, с глубоким декольте и рукавами, обшитыми кружевами. – Хана приехала из Голландии, из португальской семьи, семьи марранов, евреев, принудительно крещенных.

Несмотря на то, что здесь, в Силезии, она сменила имя на – Иоанна, сменить веру не согласилась. Таким образом, дядя Натан стал единственным наследником отца Якова. Этот дворец, построенный Соломоном – Иеронимусом, перешел в его владение, а от него...

Глаза матери, которые двигались за пальцем дяди Германа, равнодушно скользили по лицам мужчин и женщин, облаченных согласно моде своего времени, как и все люди их поколения, и остановились напротив Ханы из Португалии, брюнетки, с темными глазами, гордой прямой осанкой, Ханы, которая приняла имя Иоанны Леви в доме ее мужа. А Гейнц вернулся к темной тени дяди Якова. Солнечный свет проник в большие окна зала, и лучи его преломились в огромных хрустальных люстрах и упали искрами, оживив дядю Якова.

– Нет человека, который мог бы переступить собственную тень, – сказал мать с глубокой печалью в голосе. Стоящая за ее спиной тетя Финхен снова что-то процедила уголком рта. Гейнц чувствовал, что должен прийти на помощь матери: может он сумеет переступить свою тень, и голос матери перестанет быть таким печальным. Он побежал в большой сад. Огромные вишневые деревья развернули свои ветви, покрытые белизной распустившихся почек и новой листвой. Свет был ослепителен над тенью старой аллеи. Тень Гейнца втянулась в нее, в окружении солнечного полдня. И там Гейнц пытался произвести опыт – вырваться из собственной тени.

– Не может человек переступить собственную тень, не может, – бормотал Гейнц, прислушиваясь и подчиняясь звукам гонга, несущимся из дома.

Так и не сумел Гейнц переступить собственную тень в аллее роскошного семейного дворца. Вернулся домой с тяжелой тенью на душе. Нечто тяжелое и туманное отделило его от детей, у которых матери без «оттуда» – чего-то темного, черного, что ворвалось в его жизнь. В этой сумятице невнятных, темных чувств, он рос и взрослел. К Эдит и остальным детям в семье не пристало это «там» матери. Эдит и братья росли спокойно – до Иоанны.

Глаза Гейнца не отрываются от деревьев сада, раздуваемых ветром. Туманы опустились, подобно завесам, между ним, гонгом и суетой домочадцев. Спина согнулась и расслабилась, пальцы мнут платок в кармане.

...Иоанна. Она родилась под сенью материнской тоски. Родилась после войны. Все долгие годы войны мать была одинока. В доме прекратился смех. Глаза матери казались опустошенными, полными страдания. В эти годы он, первенец, был ее единственным собеседником и поддержкой. Однажды она сказала ему: «Я тревожусь не только за твоего отца, но и за своих родителей, они ведь остались «там», – и взгляд ее был полон страдания.

– Там? – спросил он охрипшим голосом, словно прося ее очертить некий облик и имя этого «там», столь невнятным в его душе и преследующим его темной тенью все годы детства. Она коротко объяснила ему:

– Там, в пограничном городке, где я родилась. Там остались мои родители, между поляками и немцами и их общей ненавистью к евреям. – И над его светловолосой головой взгляд ее невидяще смотрел вдаль, «туда».

Когда отец вернулся с войны, почувствовал Гейнц борьбу между матерью и отцом. Отец силился вернуть ее из далей в его мир, крепкий, устойчивый. Так никогда он не сумел это сделать, как в первые дни их любви, когда вырвал ее силой из бедного дома и посадил ее в мир, сверкающий богатством. Именно в этот период, когда отец как бы победил мать в борьбе за ее душу, родился Гейнц, первенец. Но послевоенная борьба между ними, изматывающая обоих, имела иную цель. Мир отца не был снова крепким, устойчивым, сверкающим. В душе его таились страдания, о которых мать не знала. Во время войны каждый из них был погружен в свои страдания и замкнулся в своем душевном мире. Душа матери блуждала далеко от отца в чужеземных областях. И на этот раз, как тогда, отец пытался силой отнять у нее душевный груз теней и боли. Но на этот раз она не сдалась ему, как в дни своей юности. Фанатично боролась за независимость, которую с болью обрела в годы войны. Именно, во время этой борьбы между ними, родилась Иоанна. Она открыла в мир глубокие и темные свои глаза, подобные глазам матери, абсолютно не похожие на глаза своих братьев и сестер. Мать дала ей имя той далекой матери, которая единственно приветливо смотрела на нее со стен семейного дворца на холме. Хана из Португалии, дочь марранов из Голландии, взявшая имя Иоанны Леви в роскошном дворце Иеронимуса, и колокола эмансипации не звенели в ее душе и не тянули в молитвенный дом.

Гейнц вздыхает. Странно. Но ни одна из женщин в семье во всех поколениях не носила имя дочери марранов. Дед, много рассказывавший им о членах семьи, о ней ничего никогда не рассказывал. Большинство историй его было о Берте-Бейле, жене отца семейства Якова, чей портрет, даже вырезанный из черной бумаги, не остался. По словам деда, она живет в отдалении и по сей день. Хана из Португалии не менее, чем Берта-Бейла, была во вкусе деда Якова. Почему же, именно, память о ней в семье стерта? Потому что не могут простить дочери марранов то, что она не позволила дяде Натану, вслед за братьями войти в церковные ворота и тем самым занять место на родословном дереве прусских аристократов? Потомки дяди Якова, родившегося в гетто, растворились в просторах Пруссии под высокими титулами и почетными именами местных аристократов, и кровь их смешалась с голубой кровью, которая вытеснила до последней капли темную кровь их прошлого. Натан и Хана из Португалии – единственная пара, продолжившая линию отца Якова. И, несмотря на то, что их сыновья добились успехов еще до того, как евреи получили все гражданские права в Пруссии, и они были первыми из евреев, получивших эти права, никто из них не поменял веры. Хотя и женились они на христианках, ассимилировались, но остались евреями. Традиции дочери марранов были их семейными традициями, и до тети Регины никто из них не бежал к купели – креститься. Но... вероятно, осталась в их душах неприязнь к матери, уроженке далекой Португалии, которая навязала свою волю на следующие поколения и не дала им раствориться, как сделали другие сыновья дяди Якова. Эта скрытая неприязнь породила молчание о ней, пока не явилась мать и дала ее имя дочери, которая родилась после душевной боли военных лет. На голове Иоанны был странный нарост, пугающий всех, кто на него смотрел. Мать была потрясена. Отец вызывал врачей. Пер-

вые недели жизни Иоанны были полны напряжения. Один из знаменитых в Берлине хирургов предложил прооперировать младенца, но предупредил, что операция увеличит левый глаз, и это сделает лицо уродливым. Отец возражал. Боролся за внешность ребенка. Привез врача из Бреслау, столицы Силезии, родных мест семьи. Этого врача рекомендовал дед, который, как и отец, прочесал Германию вдоль и поперек в поисках врачей. Хирург, приехавший из Силезии, предложил операцию, опасную для жизни младенца, но если операция будет удачной, облик будет спасен. Мать возражала. Она боялась за жизнь ребенка, отец – за ее внешность. Атмосфера вражды и ссоры воцарилась в доме, впервые в семейной жизни отца и матери. Все противоречия между ними, сдерживаемые раньше, вспыхнули в этой вражде по поводу будущего черноглазого ребенка. Отец обманом забрал от матери девочку и увез на операцию в Бреслау, как бы только за советом. Сопровождали его Фрида и дед. Вернул отец дочь в руки матери с огромным бинтом на голове, но лицо ее выглядело нормально, и этим самым вернул веру матери в отца. Вернулось их счастье в дом, тени исчезли...

– Не исчезли, не исчезли, – бормочет Гейнц в сторону ветра, бьющего в стеклянную дверь, – Иоанна и я, каждый по-своему, несем в себе эти тени матери.

Китайский гонг продолжает греметь, но никто к нему не прислушивается, а время уже позднее.

«Кто дал этот нежный китайский гонг матери в сильные руки Фриды? Долгими годами никто не прикасался к материнскому гонгу. Ведь и он тоже осиротел. Закрыли его в маленькой чайной комнате. Отец запер дверь в эту любимую комнату матери. В этой комнате, выдержанной в стиле крестьян из черного леса, всегда, уединившись, завтракали отец и мать. «Священный час», – посмеивались дети по поводу этого уединения, но никогда не осмеливались его нарушать. Отец никогда не вмешивал детей в свои отношения с матерью, в ту замкнутую атмосферу любви и счастья, царящую между ними. В их присутствии он был сдержан в своих чувствах к ней. После ее кончины не терпел никакого звука, напоминающего ему о ней.

Эту комнатку их счастливого прошлого дед открыл в дни болезни отца. Там они нашли гонг на комод. Рука не притронулась к нему с момента, когда он выпал из рук матери. Дед откинул занавеси, закрывавшие окна, приказал стереть пыль с мебели, отличавшейся в этой комнате веселыми тонами, подкрутил цепь с гирями настенных гравированных часов. В последние дни жизни сына дед силился оживить даже неподвижные предметы. Окружил себя и всех своих внуков в доме гаснущими искрами счастливого прошлого. Теперь гонг перешел в энергичные руки Фриды.

– Невозможно, – рассматривает Гейнц свои ладони, – унаследовать счастье отца и матери. Что было, то было, нам не оставили ничего, кроме боли и опустошенности. Вечерние звуки прошлого возносятся из нашего дома фальшью, режущей слух. Ничего нельзя наследовать...

Звуки гонга прекратились. Теперь гремит голос деда из чайной комнаты:

– Фрида, хочу тебя похвалить. Где ты купила такую вкусную рыбу. Лет тридцать я такую рыбу не ел.

– Уважаемый господин, – возмущается Фрида, – только вчера вы ели, и позавчера, и все дни. Я уже десять лет покупаю ее у Краузе на углу, по ту сторону улицы.

– Гейнц! Гейнц! Где ты?

Это голос Иоанны, перекрывающий все остальные голоса. Она бродит по комнатам в поисках Гейнца. А он прячется в складках портьеры.

– Гейнц! – разносится голос Иоанны с одного конца дома до другого. – Ты должен написать мне дневник. Сегодня у меня день облучения кварцем. Гейнц!

Речь идет о записях опозданий, пропусках уроков или вообще отсутствия в школе. Таковы школьные правила: каждый ученик, опоздавший на урок даже на полчаса, обязан принести учителю объяснение причины опоздания, подписанное главой семьи. Гейнц подписывает дневник Иоанны дважды в неделю, в дни, когда Иоанна посещает клинику семейного врача

доктора Вольфа, где проходит облучение кварцем, для чего должна уйти с занятий в одиннадцать часов утра, за три часа до окончания уроков. К удивлению всех она прилежно посещает доктора Вольфа, несмотря на ужасное отвращение, которое испытывает к этому искусственному солнцу, которое лучится от сверкающей стали, окрашивая оттенками загара ее лицо. Щеки ее покрылись краснотой, но на месте зеленых очков, прикрывающих глаза по время сеанса возникли два широких круга, как два циферблата, делающие ее похожей на летучую мышь. Иоанна боится заглянуть в зеркало, и непонятно, почему в голосе ее, доносящемся из ванной, слышны нотки отчаяния: то ли из-за выражения ее лица, отражающемся в трех зеркалах, то ли из-за отсутствия Гейнца.

– Гейнец, где ты? Ты не подписал мой дневник.

Но вместо Гейнца отвечает ей гонг Фриды.

– Иоанна, – присоединяется к звукам гонга голос Фриды, – перестань шуметь. Гейнец, очевидно, уже ушел из дома, иди завтракать. Час поздний, Иоанна!

– Но что мне делать? – бежит в отчаянии Иоанна в чайную комнату.

– Я подпишу вместо Гейнца, детка, – пытается дед ее успокоить.

– Нет, дед, твоя подпись ничего не стоит.

– Что?! – вскрикивает дед, то ли со смехом, то ли с удивлением. – Что ты сказала, Иоанна? Вы слышали эту наглуую крысу? Более пятидесяти лет я ставлю эту подпись, и никогда ни один человек не провозгласил, что моя подпись ничего не стоит.

– Но не в школе Иоанны, – успокаивает деда Эдит, – она ведь говорит лишь о подписи для школы, дед. Гейнец там официально считается замещающим главу семьи, и там принимается только его подпись, – и мягким голосом обращается к Иоанне, – не волнуйся так, Иоанна, я позвоню доктору Вольфу и попрошу принять тебя после полудня. Ты сможешь закончить сегодня все занятия.

– Нет! Нет! Я должна получить кварц утром. Это... лучше.

– Но почему, Иоанна? Почему кварц утром лучше, чем кварц после полудня?

– Очень просто, – Бумба опережает Иоанну с ответом, – потому что так она может уйти со школы. Шанс, лучше которого нет. Тем более, что вчера она не сделала домашнее задание. Целый день была в своем Движении.

– Тебе-то что? Вечно ты вмешиваешься в мои дела. Заткнись!

– Тихо, Иоанна, тихо. Не начинай снова.

– Силы небесные! Иисус Христос и святая Дева, такие слова в этом доме! – возмущается Фрида.

Даже голос деда возмущен:

– Дай нам спокойно поесть, детка. У меня сегодня особенно хороший аппетит.

– Неправда, дед, – отрицает Бумба, мужественный борец за правду и справедливость, – каждый день у тебя тот же аппетит.

– Рта нельзя раскрыть в этом доме. Просто невозможно.

– Невозможно, уважаемый господин. Сколько раз я говорила об этом? Каждый ведет себя так, как ему заблагорассудится. Почему ты не ешь, Иоанна? Я спрашиваю вас, уважаемый господин, так ли должно быть: тратим такие деньги на облучение кварцем, чтобы у девочки был аппетит, и все зря. Не ест. Не спит, не моется, не чистит зубы. Что она делает, чем поддерживает брэнную душу, неизвестно. Только тратят на нее большие деньги. Впустую, уважаемый господин. Никого не слышит и не слушает, эта девочка.

Рука Гейнца держится за темно-зеленую бархатную портьеру.

«Она никого не слышит и не слушает», – все еще звенят в его ушах слова рассерженной Фриды. Они долетели сквозь мешанину голосов из чайной комнаты. Он не пойдет подписывать Иоанне дневник. Есть что-то скрытое в этом, и не потому, что она с таким нескрываемым рвением бежит на эти нудные сеансы кварца! Не в облучениях причина, их надо прекратить.

Фрида права: нет от них никакой пользы. У девочки какой-то секрет, который лишает ее аппетита и делает бледными ее щеки, и не поможет лечение облучением. Надо узнать этот секрет. Но как? Он замкнут в ее душе, как скрывает свой секрет Эдит и ключ к этим тайнам не в обильных яствах деда. У каждого из домочадцев свой путь, и с этим ничего сделать нельзя. Отец наводил порядок самим своим обликом и присутствием. Он четко определял каждому его путь, и никто не осмеливался грубо нарушать его. Умер отец, исчез Эмиль Рифке, но тяжелая его тень все еще гуляет по дому и тянет Эдит в бездны еще сильнее, чем при жизни отца, когда Эмиль был ее женихом, и приходил в дом почти каждый день. А он, Гейнц, выполняет сейчас обязанности отца... но он – ничто. Не наделен той самоотверженностью, которую требует от него дом. Все его стремление – сохранить семейные традиции в доме – подобно скорлупе, и в душе одно желание – все это бросить, сбежать от всех обязанностей, жить, как душе заблагорассудится.

– Дети, – слышит он мягкий голос Эдит, – кончили завтракать, пора в школу. Из-за забастовки она отвозит детей на своей машине.

– Я сегодня в школу не пойду. Поеду в одиннадцать на облучение. Гейнц завтра подпишет мне за все часы отсутствия на уроках. Гейнц виноват.

– Вы слышали такое? Она не пойдет в школу! Такого еще не было в этом доме! Так вот, просто, не пойти в школу? Встань немедленно, Иоанна.

Гейнц хочет выйти из портьер, прийти Фриде на помощь. Он чувствует, что это его долг поставить на место эту непослушную, бунтующую против всех девочку. Он уже тянет руку, чтобы откинуть портьеры, но рука бессильно повисает в воздухе и опускается на костюм. Утренние серые и вьюжные сумерки проникают в него болезненной слабостью. Всеми силами он пытается эту слабость преодолеть, но продолжает смотреть скорбными глазами на туманы в саду и бормочет про себя, как побежденный: «Если бы могла душа освободиться от всего, что в ней скрыто, если бы я мог быть свободным человеком, сбросить с себя всю накопившуюся тяжесть, все темное, что во мне, перестать быть никем и ничем, и суметь занять место отца...

И как бы подчиняясь внезапному порыву, Гейнц решительно выходит из-за теплых портьер, служивших ему укрытием, и возглас удивления встречает его появление. Добрая, округлая кухарка Эмми с большим подносом в руках пересекает в этот миг гостиную. Она обычно подает семье завтрак, в то время, как Кетхен занимается наведением порядка во всем большом доме.

– Господин Гейнц, – застывает она от неожиданности, – вы здесь? Вас разыскивали по всему дому.

– А-а, да, да, – смущенно бормочет Гейнц – не слышал. Был очень занят.

– Вы всегда заняты, господин Гейнц, очень заняты. А я уже несколько дней хотела с вами поговорить. Вчера хотела, но был в доме большой праздник в связи с выигрышем в лотерею уважаемым господином, вечером...

– Вечером придут гости. Видно, не найдется удобное время для нашего разговора. Только вот, сейчас... – отвечает Гейнц с неожиданным для него лукавым тоном в голосе.

Старуха в его глазах, как явившийся во время ангел, спасающий его от членов семьи, шумящих в доме. В любой миг они могут появиться в гостиной, начать изводить его своими заботами и выражением изумления по поводу его внезапного появления. Добрыми глазами смотрит Гейнц на старуху, всю в складках не очень белого фартука, охватывающего ее широкое тело.

– Именно, сейчас подходящее время для разговора. Тем более, что не было у меня еще росинки во рту, даже глотка кофе.

– Что вы говорите, господин Гейнц? – Скрещивает старуха в панике на фартуке маленькие, жирные свои ручки. – Как же это вы ничего не ели? До того были заняты? – и столько жалости в ее глазках.

– Теперь там, внизу, кофе остыло.

– Ничего, – успокаивает ее Гейнц, – пойдем к вам в кухню, Эмми. Нет лучше места, чем кухня, в такое утро.

В кухне звенит электрическая кофеварка. На окне спущены жалюзи. Вьюжное утро не ощущается в теплой сумеречной кухне. Белые плитки, покрывающие стены, блестят. Гейнц опускается со вздохом облегчения на белую скамью около стола. Эмми лихорадочно хлопочет вокруг него: ей надо спасти его от голодной смерти. За считанные минуты стол уставлен блюдами, и Эмми уже наливает ему кофе. Гейнц погружается в приятный покой безделья, желая лишь одного – оставаться в этой нирване как можно больше времени. Прикрыв глаза, расслабленно чувствует тепло окружающей его кухни. Эмми усаживается на стул, напротив него, и смущенным, непривычным для нее голосом начинает разговор:

– Господин Гейнц, я хотела поговорить с вами.

– Что-то случилось, Эмми? Что-то неприятное?

Эмми энергично качает головой в знак отрицания.

– У вас беда, Эмми? Говорите. Я сделаю для вас все, что в моих силах.

– Нет, нет, господин Гейнц, – влажно сверкают глаза Эмми, – вы не должны обо мне беспокоиться. Ничего не случилось, никакой беды. Просто я хочу вам сообщить, что должна покинуть ваш дом. Да... – неожиданно повышает она голос, как бы желая этим преодолеть смущение и проявить смелость. – Это все, что я хотела сказать.

– Что? Вы хотите навсегда оставить наш дом?!

– Да, господин Гейнц, именно это я хочу сделать.

– Но почему, Эмми? Что случилось?

– Господин Гейнц, ничего не случилось, но...

– Эмми, – в голосе Гейнца прорезаются нервные нотки, речь становится торопливой, – как это такая мысль вообще пришла вам в голову? Оставить наш дом... Вы целую жизнь здесь прожили с нами. Все ваши лучшие годы прошли здесь. Вы пришли сюда вместе со свадьбой отца и матери. Дед привез вас из городка в Силезии, не так ли, Эмми? Вы вырастили нас всех, Эмми. Нет, невозможно представить наш дом без вас. Я понимаю: мы выросли, вы постарели, и вам не под силу управляться с большим домом. Но нет причины для вашего ухода. Мы дадим вам помощницу, вам не о чем беспокоиться, Эмми. Мы не оставим вас, даже если вас оставят силы. Вы часть нашей семьи, Эмми. Наш дом – ваш дом. – Глаза Гейнца умоляют.

– Нет, господин Гейнц, нет, – старуха плачет и громко шмыгает носом, – не из-за работы и забот. Нет, господин Гейнц, нет. Я еще полна сил, и ничего мне в доме не трудно, но я хочу вернуться к своей семье в городок моего рождения.

– Но почему, Эмми, почему? Столько лет вы не посещали семью. Они никогда вас не навещали здесь, и вы почти их не посещали.

– Это верно, господин Гейнц. Годами мы не видели друг друга. С момента, как я оставила мой город, я там была всего лишь один раз, десять лет назад, когда умерла моя мать. Но, господин Гейнц, человек, доживший до моих лет, ищет для себя покой и безопасность на оставшееся время жизни. Я ничего не прошу, кроме покоя в кругу моей семьи, господин Гейнц.

– А в нашем доме, Эмми, вы не находите безопасности и покоя?

– Вы молодые, господин Гейнц, вы очень молоды.

– Но, Эмми, вы не доверяете молодым? – Гейнц силится выдать из себя шутку. – Или все еще помните все грешки моей юности?

– О, нет, господин Гейнц. Вы были хорошим мальчиком, немного буйным, но хорошим.

– Быть может, вы хотите этим сказать, что если бы отец был жив, с нами, вы бы нас не покинула?

– Может быть, господин Гейнц, может быть, – уклончиво отвечает Эмми, – может, и не покинула бы вас. Отец ваш был настоящим господином. В юности сказала мне мать: Эмми,

дочь моя, если выпала тебе судьба служить в чужих домах, служи у истинных господ! Ваш отец был, в высшей степени, истинным господином.

– Я понимаю, Эмми. Во мне вы не видите истинного господина.

– Нет, нет, господин Гейнц. Не это я имела в виду. Яблоко падает недалеко от яблони, господин Гейнц. Вы хороший, добрый господин. Я ведь знаю вас еще с тех пор, когда нагревала для вас бутылочку с молоком, как же это вы подумали, что я не признаю вас, как господина? Но... теперь нет больше господ в нашем мире. Мир наш ужасен, Гейнц.

– Что же так ухудшилось в мире, Эмми? Вы до такой степени разбираетесь в мировых делах?

– Господин Гейнц, вы не должны сердиться. Не разбираюсь я в мировых делах. Голова моя в кастрюлях, а не в книгах. Но, господин Гейнц, в человеке с возрастом растет понимание духа времени. Пару недель назад пришло мне письмо от брата.

– Брата, который работал у нашей семьи, там, в Силезии?

– Да, да, господин Гейнц, много лет он работал конюхом у господина Лео. От него ваш дед услышал, уважаемый господин, обо мне, и взял меня на службу. Прошли годы. Брат мой состарился и стал привратником вашего семейного дворца, и на этом месте, вероятно, собирался завершить свою жизнь, но вдруг от него пришло ко мне письмо. И пишет мне брат: Эмми, я оставил их. Из того, что накопил, купил себе кусочек земли, и зарабатывать буду выращиванием цветов. Жить буду на старости лет, в моем городке, среди моего народа. Возвращайся домой, Эмми, в свою семью, к своему народу. Времена изменились, безопасное место человек найдет только среди своей семьи.

– И вы верите своему брату, Эмми?

– Да, господин Гейнц, правду написал мне брат. Тяжко мне на сердце. Хорошо мне было все эти годы, но годы прошли, и я хочу укрыться в безопасном месте, в моей семье.

– Если так, Эмми, езжайте с миром. Никто вас не задержит.

– Благодарю вас, господин Гейнц.

Старуха встала, вытерла руки о фартук, еще и еще раз, пригладила волосы. Уронила руки вдоль широкого своего тела. Слезы текли по ее полным щекам, дыхание было коротким и полным отчаяния. Гейнц поднял на нее взгляд и тоже встал. Неожиданно он подходит к окну и закатывает вверх жалюзи. Все еще свирепствует ветер, и развеваются завесы снега. Все еще недостаточно прояснилось.

– Господин Гейнц, – обращается к нему Эмми из-за спины, придушенным голосом, – вы даже не допили чашку кофе. Я подам вам горячий кофе.

– Спасибо, Эмми. Аппетит улетучился. – Гейнц покидает кухню.

– Гейнц, – всплескивает руками Фрида в гостиной, удивляясь громким голосом, слышимым по всему дому, – слыхано ли такое дело? Ты дома, а мы искали тебя все утро. Все были в панике. Ты не подписал дневник Иоанне, слыхано ли такое дело?

– Где она? Осталась дома?

– Как это – осталась дома? Дала бы я ей увильнуть от школы? Я! Но твое поведение...

Нет слов...

– Где дед? – прерывает ее Гейнц, и лицо его вызывает в ее душе тревогу.

– Что-то случилось, Гейнц?

– Ничего не случилось. Но мне нужно его увидеть. Он еще дома?

– Конечно. У себя в комнате.

Фрида смотрит на широкую стеклянную дверь в сад, с которой откинута портьеры, и Кетхен, в руках которой гудел пылесос, выключает его, и вперяет изумленный взгляд в Гейнца. Словно увидела пришедшего с того света.

– Гейнц, – снова подает голос Фрида.

Но Гейнц уже взбегает по ступенькам. Дверь в чайную комнатку широко распахнута, и старый садовник, что по утрам помогает навести порядок в доме, орудует в ней. В этот момент он стоит у комода и наводит мягкой тряпкой блеск на китайский гонг. Смотрит Гейнц на его старческие руки, натирающие металл короткими и прямыми движениями.

– Если не натираешь полосу за полосой, прямо-прямо, возникают на нем темные и светлые полосы, словно тени, – объясняет ему садовник.

Оставляет садовник гонг и смотрит на него изучающим взглядом. Гонг ослепительно сверкает. Гонг выглядит большим в позолоченной раме, как бы состоящей из ветвей дерева с позолоченными листьями. Он висит между ними на шелковой нити, как солнце, выделанное из золота. Рядом с ним – в форме кулака – колотушка.

– Шедевр, господин Гейнц!

– М-м...Очень красив, – цедит Гейнц и вновь обращает взгляд на сумеречный сад, – думаете, сегодня еще распогодится? Опасно для жизни ехать на машине в этом снежном тумане.

– Распогодится? Нет, господин Гейнц. Не так быстро. Такие снежные завесы держатся долго.

– Ах, да... – говорит Гейнц и спешно покидает чайную комнату.

* * *

Комната деда полна кружевных платков и скатертей, связанных когда-то бабкой, а на окнах кисейные занавеси, покрывающие одну стену комнаты. Посреди всей этой роскоши сидит дед в бабкином кресле-качалке и раскачивается в свое удовольствие. Одет он в элегантный пиджак, и с большим интересом читает «Берлинер тагенблат» – «Ежедневную берлинскую газету», составляющую его чтение много лет. Толстая сигара во рту окутывает его голову душистым облаком дыма. Время от времени он бросает взгляд на кипарис, подкручивает усы и снимает на миг очки – дед надевает их только в своей комнате, втайне. Смотрит он на кипарис, бьющий ветвями в окно, и вздыхает: ждет, чтобы ветер затих, и туманы рассеялись, ибо желает выбраться на биржу, и этим исчерпывается его интерес к буйствующей погоде. В остальном его не волнуют ни вьюга, ни снег. Более того, чем сильнее свирепствуют стужа ветер снаружи, тем приятней ему сидеть в домашнем тепле. Он с удовольствием потягивается и переворачивает страницу, на которой траурные извещения – увидеть, кто умер в последнюю ночь в Берлине. Со стуком в дверь очки ускользают с носа деда в карман пиджака.

– А-а, дорогой мой внук, – выпрямляется дед в кресле, – искали тебя все утро, как драгоценный камень. Выяснилось, что ты был недалеко отсюда, а-а, дорогой внук?

– Выяснилось, дед, что я был в доме. – Гейнц садится в кресло напротив деда и кладет руки на подлокотники, покрытые кружевными салфетками бабки.

– А на фабрику сегодня ты вообще не поехал, внучек?

– Нет, еще не поехал.

– И что слышно на фабрике? – спрашивает дед с некоторой подозрительностью и протягивает Гейнцу пачку своих сигар, по своему большому опыту, он знает, как такая сигара открывает уста и души.

– Ничего нового, дед. Существоем. Нет больших прибылей, и нет больших потерь. Держимся, дед, и это немало в наши дни.

– Почему это немало в наши дни? Ну, а как обстоит дело с новшествами и увеличением производительности? Ведь это важно для увеличения прибылей даже в такие дни.

– А-а, дед, как? Увеличение производительности и нововведения в наши дни? – отвечает Гейнц. Внезапно ему приходит мысль – рассказать деду всю правду, чтобы сохранить честь в его глазах и услышать его мнение. По совету Габриеля Штерна с латунной фабрики Гейнц вывез за границу огромный капитал, все, чего достигла его рука, и внес в швейцарский банк.

Этот перевод ему удалось совершить в последний момент, до введения чрезвычайного закона, запрещающего вывоз капитала за границы Германии. Вместе с валютой он передал драгоценности семьи, включая коробку с драгоценностями тети Гермины, которую дядя Альфред дал Иоанне.

– Дед, в эти дни я сделал определенные шаги. Перевел семейные драгоценности в Швейцарию и внес их в банк. – Видя замкнутое лицо деда, добавил. – Из предосторожности.

– Если у тебя нет других забот, – повел плечами дед, – пусть драгоценности будут там.

– Да, – осмелился продолжить Гейнц, – там и коробка драгоценностей тети Гермины.

– Тетя Гермина! – гневно вскинулся дед. – Не обращай ко мне с тетей Герминой, Гейнц.

Мало у меня было с ней неприятностей? Она испортила характер твоей бабушки! Не она ли сказала за один день до нашей свадьбы: «Погоди, погоди, дочь моя. В первую ночь возопишь к Богу небесному». Не напоминай мне тетю Гермину. – гневно раскачивается дед в кресле-качалке, и очки его выскальзывают из кармана на пол. Гейнц вскакивает, чтобы поднять их, но дед в большом гневе протягивает руку и кладет их на маленький столик, тоже покрытый кружевной скатертью бабушки. – Фрида вечно забывает свои очки в комнате.

Дед смущен, но быстро сдерживает гнев:

– По какой причине, все же, я удостоился чести твоего посещения?

– Да, дед, – Гейнц решает отступить от решения открыть деду всю правду, и переходит на другую тему, – хотел сообщить тебе, что сейчас Эмми сказала мне, что собирается нас навсегда покинуть.

– Ну? – спрашивает дед со спокойным, даже равнодушным, выражением лица.

– Но дед, – удивляется Гейнц этому выражению лица деда, – она прожила у нас целую жизнь.

– Прожила, – прерывает его дед, – в конце концов, была не более, чем служанка. Ей хорошо платили. Она нас хорошо обслуживала. Счет подведен. Хочет уйти, пусть уходит.

– Дед, не знаю, почему я так расчувствовался. Мне кажется, что с уходом нашей доброй старухи Эмми, возникнет первая прореха в нашем доме. Я бы дал многое, чтобы удержать всех вместе. В этом наша сила, дед. Поговори, прошу тебя, с Эмми, сила твоего влияния велика.

– Но, Гейнц, прилично ли господину убеждать старую и странную служанку, чтобы она у него осталась? Не переживай так. Пусть идет своей дорогой, благодарность наша и пенсия с ней, проводим ее с миром.

Дым от сигары деда щиплет Гейнцу горло, и он заходится в кашле. Глаза его смотрят на кисейные занавеси и ветви кипариса, постукивающие в окно.

Когда он возвращает взгляд к деду, кресло его пусто и само по себе покачивается, словно взволновано внезапным рывком деда.

– Гейнц, – дед рассказывает по комнате, и голос его гремит, – дорогой мой внук, ты видишь все в черном свете, и это большая беда. Неприятности сейчас есть... почему бы нет? Неприятности есть у всех. И у меня. Служанка делает неприятности в доме? Ну, и что? И лысый Руди на моей усадьбе, этот пес, лечение зубов которого влетело мне в копеечку, пока я не сделал ему вставные челюсти, неожиданно взбунтовался, напялил на себя коричневую рубашку. Выбросим его ко всем чертям! Напишу Агате, чтобы она тотчас же вышвырнула! Я что, опущу голову из-за лысого Руди или старухи Эмми? К черту! – дед ударяет кулаком по столу так, что бабушкина лампа с колпаком из ткани, вышитой жемчугами, сотрясается. – в дом придет новая кухарка. Молодая, симпатичная, так что приятно будет смотреть на нее. Снова будет обслуживать нас целую жизнь. Тебя и твоих детей. Сегодня же дам объявление в газету. Только не сгибать голову. Упрашивать служанок? Нет, дорогой внук, нет. Пока я еще глава семьи! Гейнц, собирайся в дорогу, подвезешь меня к бирже, и как можно быстрее.

Гейнц торопится взять шапку и пальто. Но по пути заходит в кабинет отца – позвонить. Вечером – встреча друзей дома. Он собирается напомнить доктору Гейзе о встрече и попро-

силь его, чтобы он освободил Иоанну от уроков в одиннадцать часов. Но положил трубку на место и снова поднял – позвонить Александру. Телефон звонит. Голос доктора Гейзе. Доктор рассказывает, что случайно зашел к нему учитель из класса Иоанны, и на просьбу освободить ее от занятий, ответил, что она вообще не появлялась сегодня в классе.

– Ага, да, да, – бормочет Гейнц, – вероятно, Эдит взяла ее куда-то. Все в порядке, доктор, – и с покрасневшим лицом кладет на место трубку. Опять этот секрет Иоанны всплыл. Что с ней? Где она? Что с ней происходит в последнее время? С большим беспокойством Гейнц снова берет трубку. Да, Александр еще дома. Шпац из Нюрнберга у него. Да, он обещает прийти на встречу друзей в память господина Леви, происходящую один раз в месяц в доме Леви.

Он выходит из кабинета отца, и дед уже идет ему навстречу, выпрямив спину. В руках его черная трость с серебряным набалдашником для прогулок. Шаги его звучат даже по мягкому ковру в коридоре. Поднимает дед строгий взгляд на внука, покручивает усы, и решительно поводит головой в его сторону.

Дед и внук выходят наружу, в день, который им обоим не по душе.

Глава шестая

Испытывая чувство удовлетворения сделанным, Александр положил руки на подлокотники кресла, как человек, желающий отдохнуть.

– Гейнц? – спросил его Шпац из Нюрнберга?

– Гейнц?

Александр и Шпац кивают друг другу в знак согласия, во всяком случае, в том, что касается телефонного разговора с Гейнцем. Александр говорит, продолжая спорить со Шпацем.

– Вольдемар, но это невероятная, абсолютная глупость.

Александр собирается перейти к письменному столу. Перед столом сидит Шпац и ерошит и без того непричесанные волосы. Александр, по пути к столу, останавливается около окна.

Серое утро, холодное и выжужное. Александр извлекает из кармана носовой платок. И Шпац взволнованный этим утром, вскакивает с кресла, по привычке подтягивает брюки, словно они вот-вот упадут, и начинает нервно ходить по комнате. Останавливается возле окна, рядом с Александром, отряхивает с колен соринки, влажные туфли его скрипят.

Александр хмыкает, выражая неудовольствие. Этот молодой человек, без конца отряхивающийся в то время, когда за его спиной, снаружи, завывает зимний ветер, ерошащий и без того запутанную шевелюру, пытающийся спастись от реальности, действует ему на нервы.

– Сядь, Вольдемар, сядь, – говорит Александр приказным тоном.

Шпац немедленно возвращается в кресло. Александр сопровождает его, и перед тем, как сесть, Шпац вскрикивает:

– Доктор Александр, нет у меня никакого выбора.

– Не выводи меня из себя, Вольдемар, – Александр расстилает лист бумаги на столе, и что-то на нем записывает, – молодому талантливому человеку нечего делать в жизни, кроме как присоединиться к обществу по охране животных, дрессировать бездомных собак на заброшенной собачьей ферме? Это же абсолютная глупость. Там твое место, Вольдемар?

– Там мое место, доктор! Двести беспризорных псов и двенадцать уродливых женщин, старых, безмужних. Именно, там мое место. У этих женщин нет в мире никого, кроме несчастных беспризорных тварей, и вся их любовь обращена к этим живым существам, доктор Александр. Агнесса, Матильда, Лотхен и Лизхен...

– Мне необязательно знать имена всех, – прерывает его Александр.

– Доктор, доктор, все они слишком уродливые и странные, чтобы найти себе место в жизни. Они выброшены, потому что ни на кого не похожи, и место их на обочинах жизни. Потому нет у них колебаний по поводу проблем и идей, – только самоотверженность, любовь и милосердие. Может быть, там я сохраню свою душу. Там я нашел свое место, доктор. Смехотворное существо среди себе подобных. Мне там хорошо. Отныне там и буду жить, под покровительством любви, самоотверженности и милосердия. Нет, нет, вы меня оттуда не уведете.

– А что будет с нашим другом Аполлоном, если даже вы, Вольдемар, его оставляете ради убежища среди собак.

– Аполлон! Доктор, Аполлон потерян! Потерян! Вы это знаете так же, как я.

– Потерян? Нет! Хотя положение его серьезное. Пока господин Гертнер, адвокат Гитлера после неудачного путча в Мюнхене, является министром юстиции Германии, он не будет заинтересован втянуть партию Гитлера в еще один суд об убийстве, в дополнение ко многим судам, которые он отменить не может из-за требований других партий. Но кто требует суда над Аполлоном? Не партия, не общественная организация. Суд его удобно откладывать. А у нашего друга-куплетиста единственный способ выйти на свободу, это выиграть суд. И такой шанс есть. Но как он выигрывает суд, если не может его добиться? Суд откладывается с месяца на месяц.

– Я говорил это. Отсрочка суда и есть суровый приговор. Каждый отсроченный месяц ухудшает его положение. Это ужасный приговор.

– Ужасный суровый, – с иронией в голос повторяет Александр, не переставая протирать очки, – серьезный, но вовсе не ужасный. Отсрочка это не отмена. Еще увидим!

Шпац снова вскакивает со своего стула, расправляет члены и начинает бегать взад и вперед по комнате, и ничем нельзя его остановить. Пока не возвращается к Александру и заглядывает из-за его плеча на лист бумаги, лежащий на столе, на котором написано: «Тема – отчаяние Шпаца».

Глаза Шпаца за стеклами очков расширяются от удивления.

– Гм-м... – бормочет Александр, – почему вы стоите за моей спиной?

– Доктор, доктор Александр!

– Или доктор, или Александр. Я ведь вам не один раз предлагал – звать меня по имени, Александр, как зовут меня все мои друзья.

– Ну, как, доктор, я буду называть вас по имени, если вы так холодно относитесь ко мне. Ах, Александр, доктор Александр, извините меня, если я вам выскажу от всего моего сердца. Так уж повелось между людьми, что восточные евреи весьма чувствительны и быстро впадают в гнев, а мы, немцы, северяне, хладнокровны и ничего не берем близко к сердцу. Извините меня, доктор Александр за то, что я вам скажу, положила руку на сердце: вы – человек хладнокровный и деловой, как прусский офицер.

– Ага, вот оно что. Но между мной и прусскими офицерами нет ничего общего. Просто это адвокатская выдержка. Успокойтесь, Вольдемар, и сядьте. Пожалуйста, сядьте.

– Что вы все повторяете без конца – «сядь, сядь», нацисты могут прийти к власти в любую минуту. Каждый проходящий день приближает конец Аполлона. Что с ним будет, если завтра провозгласят Гитлера главой правительства? Я спрашиваю: что тогда будет?

– Будет очень плохо. Но зачем вам без конца суетиться по этому поводу, зачем вам отчаиваться и пребывать среди двенадцати уродливых женщин?! Весь последний год, с того момента, как нога моя ступила на землю Германии, в этой стране носятся слухи, месяц за месяцем, что Гитлер будет главой правительства. Правительства сменяются, но Гитлер не приходит к власти. Может быть, это добрый знак, Вольдемар?

– Добрый знак? Извините, если скажу вам, положила руку на сердце, доктор Александр, вы говорите, как все... Вы... как все! Хотя бы вы не будьте, как все, хотя бы вы.

– Когда я анализирую политическую ситуацию...

– Не анализируйте, доктор, не анализируйте! Анализы здесь не помогают. Нацисты это не дело политики. Не в их политической программе дело, а в крови этого народа. Не обижайтесь, доктор Александр, если я вам скажу: «вы, еврей». Все мои друзья-евреи не любят, когда им говорят: «Вы, еврей». Но вы – не как все евреи. Вы отличаетесь от всех евреев, которых я знал, и вы обычно говорите: «Я, как еврей». Потому, доктор, разрешите и мне в этот раз сказать вам – «Вы, как еврей». Можно мне, доктор?

– Можно, Вольдемар. Говорите! Итак, я как еврей...

– Итак, доктор, вы, как еврей, поймете, если я вам скажу, что евреи сами себя обманывают, а не немцы. Как это, доктор, такой еврей, как вы, не может понять, что нацизм вовсе не дело политического анализа, даже если оно логично и предельно ясно. Нацизм, доктор Александр, не имеет к этому никакого отношения, – Шпац указывает пальцем на свой лоб, – а лишь к этому, – и он ударяет себя в грудь в области сердца, – сущность нацизма может ощутить только немец. Я люблю свой народ, доктор, это хороший народ, но мелкая буржуазия вознамерилась властвовать над нами.

– Хм-м...

– Чего бы вам хмыкать, доктор? Если завтра здесь Гитлер возьмет власть, тихо упакуйте ваши вещи, садитесь в поезд, который повезет вас к вашему народу, вашей стране, и

так должны сделать все евреи. У вас есть куда бежать. И что они потеряют, оставив эту Германию, доктор? Им, таким образом, не нанесет ущерба скверна и уничтожение, ожидающее нас, немцев.

– Хоть бы такое случилось, – бормочет про себя Александр.

– Снова вы что-то бормочете самому себе? Быть может, вы ожидаете того часа, когда свершится судьба моего народа, и тогда окажется, что вы были правы, и за вами пойдут все те, которых сейчас, из-за их слепоты, вам не удастся убедить, что необходимо немедленно покинуть Германию. Доктор Александр, что я для вас? Некая тема: «отчаяние Шпаца»... Адвокатская выдержка. Ах, доктор. До чего хорошо в наши дни быть евреем, и как плохо – немцем. Хорошо быть евреем...

– Хм-м-м...

– Доктор, все заканчивается строчкой – «Отчаяние Шпаца». Коротко и по делу, точка, подпись. Но что после подписания приговора? Вы – как все... Все говорят – «Отчаяние Шпаца», и – точка, но что – после отчаяния? Собаки, кошки, уродливые женщины.

– Нет, – коротко и сухо прерывает его Александр, обсуждается единственное: художник Шпац, человек искусства.

– Нет, доктор, я больше не человек искусства. Я стремился быть художником, а не фотографом, ибо может ли истинный художник фотографически изображать реальность? Художник умеет извлечь из реальности то, что видит и предчувствует его душа. Предчувствие, визионерство покинуло меня, ибо предчувствую я только уничтожение и гибель. Я перестал быть художником после того, как вручил портрет покойного господина Леви его детям. Если бы это зависело от меня, я бы никогда не завершил его портрет и не поставил бы под ним свою подпись. Я бы рисовал и стирал, и снова бы возвращался в поисках цельности его личности. Всегда. Господин Леви, по моему предвидению, был целостной личностью. Быть может, в нем не было всех тех качеств, которые моя душа искала в нем. Были или не были они в нем, неважно. Главное, что пробуждает его образ и душа в себе подобном. Есть, доктор, такие, которые могут сделать из тебя злодея и негодяя по своему образу и подобию. Они тебя влекут, без того, чтобы ты это вообще почувствовал. Но есть и такие, которые пробуждают в тебе добро, или чувство долга – быть аристократом духа: господин Леви сделал меня хорошим человеком без всяких назиданий и моральных внушений. Просто в его присутствии ты не можешь даже думать о чем-то низком. В его присутствии моя душа начинала излучать большие добрые силы, и я становился художником. Благодаря ему, мои мечты возносились и реяли над реальностью. Само очертание лица господина Леви как бы приближало меня к мечте, к предвиденью поколений. Каждое поколение обнажает, как гравер, черты своих потомков, добавляет линию к линии, черту к черте, выражение к выражению. И, быть может, когда этот цельный облик возник из-под резца гравера, линии эти сами по себе обрели печаль, которая всегда окутывала черты облика господина Леви, словно бы без конца откусывая частички его души, его тела. Печаль эта, тоска отбирала, обирала его цельность, изысканность, аристократичность, которые долгие поколения развивали в нем и оставили ему в наследство. Последняя грусть заката освещала его облик. После его смерти я заперся на долгие месяцы в моей комнате – рисовать его портрет. Я был с ним один на один многие часы. То, что я просил его при жизни, он дал мне после своей смерти. Доктор Александр, только художник на вершине своей зрелости знает, как увековечить на холсте цельный и зрелый образ. Во мне же, доктор, нет этой душевной и духовной зрелости. Я – член общества по охране животных. Я несчастен, жалок, смешон, и передал сыновьям его портрет со всей его незрелостью. Я был душевно опустошен. И только придя к вам, Александр, я немного возвращаюсь к себе и к образу господина Леви, каким хотел его изобразить. Между вами, Александр, и господином Леви. Конечно же, большая разница. Что-то во мне завершилось, а что-то в вас началось. Вы мужественны, крепки, активны, и никакая печаль не грызет вас.

– Вольдемар, не обо мне сейчас речь, а...

– Да, да, тема: гибель или спасение Аполлона. Не так ли?

– Итак, Вольдемар, что вы намереваетесь сделать во имя вашего друга, сидящего в тюрьме?

– Что я могу сделать, чего не сделал до сих пор?

– Кричать караул, Вольдемар, требовать суда.

– Я, доктор? Да я могу кричать и кричать – и ничего не достигну. Чем больше я кричу, тем более я смешон.

– Прекратите, Вольдемар. Нет сейчас времени для пустой болтовни. Идите ко многим вашим друзьям – людям искусства и членам разных политических партий. Немало среди них друзей нашего несчастного куплетиста. Взывайте к их совести. Пусть возопят со всех трибун и газетных страниц, требуя одного – права Аполлона на суд.

– Ах, доктор, не обманывайте себя, – заходится смехом Шпац.

Но карие его глаза, увеличенные стеклами очков, смущены.

– Доктор, из всех его уважаемых, прекрасных, симпатичных друзей, остался один я. Я – маленький, жалкий и смешной. Где они, все друзья? О Марго, которая была под его покровительством, я даже говорить не хочу. Это червеобразное черное существо извивается между столиками «Муравья» – трактира нацистов и их лидеров. А остальные его дружки прячутся за высокими баррикадами своих политических позиций и мировоззрений. Взывать к их совести, доктор? Ха! Нет у них своей совести. Есть у них коллективная совесть, партийная, научная. Как хорошо человеку освободиться от личной совести и приобрести вексель на коллективную совесть, действующий по высокому указу, по воле других. Ах, доктор, ни один из этих людей не поднимется ни на какую сцену и не поднимет голос во имя такого маленького, жалкого, потерянного человека, как Аполлон, который ни в какой партии не числится, и невозможно с его помощью и борьбой за него заработать какой-либо политический капитал.

– Не решай заранее, Вольдемар, судьбу Аполлона, и не будь категоричен относительно совести друзей. Иди к ним. В конце концов, они – люди.

– Да, люди, но люди организованные. А у организованного человека и совесть организованная. Нет смысла в этом напутствии и хождении по «друзьям», которое вы на меня возлагаете.

– В воскресенье, то есть послезавтра, Вольдемар, вы идете от одного к другому, дружески говорите с каждым и не даете им увильнуть! Спасение Аполлона в их борьбе за него.

– В воскресенье, доктор, я не смогу. В этот день мы собираем пожертвования для собак...

– Кончайте эти разговоры о собаках и женщинах. Кончайте!

– Доктор, не сердитесь. Прошу вас, не сердитесь. Все всегда на меня сердятся. Только вы не сердитесь. Скажу вам правду, по сути, я пришел к вам утром по делу Аполлона, но не могу больше об этом говорить.

– Кто вам мешает? – спрашивает Александр, поглядывая на часы: он сегодня очень занят, а Шпац сидит у него уже битый час.

– Я нашел способ спасти его жизнь, освободить немедленно из тюрьмы. Вам знакома моя тетрадь зарисовок, которую всегда ношу с собой в кармане?

– Конечно, – удивляется Александр неожиданному переходу к иной теме, – и где эта тетрадь?

Карман Шпаца пуст, ни тетради, ни горсти карандашей, которые всегда торчали из верхнего кармана го костюма.

– Я больше не рисую, доктор, но когда рисовал, был счастлив. Зарисовал шествие нацистов в моем родном городе Нюрнберге. Шествие было огромным. Может, лишь этой силой можно спасти моего друга Аполлона.

– Как?

– Вы помните поэта Бено? Вы с ним беседовали в клубе «Огненный Ад». Бено этот у них сильно возвысился. Он лидер гитлеровской молодежи, дошел до верхушки нацистской партии. Конечно же, и он шагал на том параде. Он и я. Он – в рядах, я – около. Он написал большую поэму о параде, я делал зарисовки. Оба преуспели. Бено жаждет, чтобы я украсил своими рисунками его стихи. Сделал мне деловое предложение. Он готов купить за большие деньги мои рисунки, но я могу попросить у него, вместо денег, жизнь Аполлона. Руководитель гитлеровской молодежи в мгновение ока добьется суда. Доктор Александр, вас я спрашиваю: должен ли я продать свои рисунки, чтоб украсить ими нацистскую поэму?

– Хм-м-м... – Александр поджимает губы, закуривает, кладет сигарету в пепельницу, расправляет костюм, как человек, не знающий, что делать с собой в этот момент.

– Ни слова, доктор. Прошу лишь выслушать меня, хотя это отнимет у вас время, предназначенное для других. Все поворачиваются ко мне спиной, когда я хочу что-либо объяснить. Но вы, доктор, не как все. Вы слушаете меня. Но сначала возьмите чистый лист бумаги и запишите: тема – «Исповедь Вольдемара Шпаца, художника из вольного города Нюрнберга». Мою исповедь завершите своим ответом. Улавливаете? Я видел их и зарисовал их в своей тетради, весь парад в Нюрнберге, моем городе, городе моих праотцев. Со всех концов Германии приехала масса марширующих коричневорубашечников. Дни и ночи они маршировали, забывая все шоссе Германии. Колоссальное их войско шло пешком в мой город Нюрнберг, и ни в каком месте им не противостояло никакое другое войско. Дни и ночи стучали их сапоги в уши десятков тысяч немцев, проходили мимо, ряд за рядом, воинственные их физиономии, их фигуры, туго затянутые в ремни, развевались знамена со свастикой и пучками кинжалов. Десятки тысяч глаз взирали на парад коричневого войска. Нюрнберг не запер перед ними ворота, и страж у ворот не трубил в рог, предупреждая граждан о коричневом нашествии. Стены Нюрнберга, самого гордого из городов Германии были прорваны, и ворота распахнуты настежь. Доктор, я шагал с ними от Берлина до Нюрнберга, шагал и зарисовывал. Вошел с ними в мой город. Он был весь украшен в их честь, и горожане в нетерпении ожидали на рынке – встретить коричневых солдат. Нас встречали напитками и вкусными изделиями, как армию освободителей. Я, единственный среди всех, опустил голову над своей тетрадью, затем отошел к старому колодезю, скромно именуемому «красивым колодезем». Создавшие его люди веры, были убеждены, что он подобен пальцу Господнему, окруженному сорока скульптурами святых, вдыхающими дух жизни в стройное здание. Колодезь был в стороне от рынка, и мне было легко отдалиться в его тень, укрыться, и в то же время все обозревать. О, эти гордые патрицианские окна! Чудесные дома. Сквозь цветные стекла их окон видны скульптуры святых, глядящие внутрь комнат. Невозможно на это смотреть без волнения. Впечатляет не только глубокая вера людей четырнадцатого века, а чувство красоты, им присущее. А в двадцатом веке к этим окнам были прикреплены знамена со свастикой...

Шпац бегаёт по комнате, подтягивает брюки, копается в своих кудрях, голос его носится между стенами и густым дымом сигары Александра.

– Я поспешил домой, к родителям, уверенный, что отца и мать найду сидящими дома. Если Нюрнберг не закрыл свои ворота перед солдатами Гитлера, отец и мать их, несомненно, заперли. Они тоже живут в старом уважаемом патрицианском доме. Отец – часовщик из древней династии часовщиков, мать – тоже из старой купеческой семьи. В доме деда и бабки – большой погреб, и в нем по сей день стоят запахи вина, рыб и всяческих яств, запахи давних времен. Я хотел запереться с родителями в нашем доме, за цветными стеклами окон, смотреть на лики святых, в то время как за окнами режут коричневые солдаты. Окна наши смотрят в сторону широкой реки, здания больницы, построенной в четырнадцатом веке, как символ гуманного духа патрициев.

Шпац делает несколько глубоких вдохов. Александр использует паузу, и сухим негромким голосом, говорит взволнованному собеседнику:

– Сядьте, Вольдемар, ну, сядьте уже.

Но Шпац на этот раз не подчиняется просьбе:

– Я хотел запереться с отцом и матерью в их доме. Отец никогда не произносил и слова в поддержку Гитлера. Он вообще говорил мало, и никогда нельзя было знать его мнения и чувств. Каждый день сидел на своем стуле в ремесленном цеху. Один глаз закрыт, во втором, широко раскрытом, – увеличительное стекло. Со стороны раскрытого глаза лицо выглядело напряженным, словно вся его серьезность и сосредоточенность сконцентрировались с этой стороны. Второй же глаз выглядел спокойным, словно с неким сомнением подмигивал всему, что сосредоточилось в открытом глазу. Я, доктор, все время смотрел лишь в этот глаз. Там я видел в отце верующего серьезного человека, не позволяющего себе никакого легкомыслия. Шаги у него были размеренными, тяжелыми, медлительными, как бы погруженными в размышления. Никогда не видел его поворачивающим голову вслед красивой женщине. Никогда нога его не ступала на порог театра. Не был он расположен к развлечениям, даже не прикасался к развлекательным книгам. Любимым его занятием было – выращивать цветы в нашем саду и посещение протестантской церкви. Единственный человек, перед которым он преклонялся, был Мартин Лютер. Отец вырастил восьмерых детей. У всех моих сестер были светлые косы, аккуратно и туго заплетенные, длинные чулки, черного цвета зимой и летом, и неизменные фартуки. Ни одна не выросла в красавицу. Наши головы, его сыновей, были всегда обриты, большие и широкие штаны до колен, купленные в рост. Полагалось, что не штаны должны нам подходить, а мы должны подлаживать себя к ним. В школу мы приносили толстые бутерброды с белым сыром, всегда одни и те же ломти и тот же сыр, год за годом. Когда я достиг зрелости, отец спросил меня, в какой ремесленной мастерской я бы хотел учиться. Я ответил, что не хочу быть мастером, а художником. Единственное мое желание – поступить в Академию изобразительных искусств – в Берлине. Он посмотрел на меня сердитым взглядом:

– Оставить Нюрнберг? Я ведь еще никогда не покидал его. Прямодушный человек будет сидеть на своей земле и честно питаться ее плодами! Живопись, рисунок? Этим можно зарабатывать на жизнь? Искусство? Легкомысленное жонглерство для халтурщиков...

Так отец говорил мне. И я очень скорбел, доктор, все годы скорбел. Но в этот день, день большого парада Гитлера, слова отца были близки моей душе. Отец, ненавистник жонглеров, прямодушный и лишенный воображения, не увлекся жонглерством коричневорубашечников, ворвавшихся в улицы Нюрнберга. Отец закрылся в стенах своего дома. А мать... она тоже росла между узкими готическими стенами, возносящимися в небеса страхом Божиим. И она даже на день не покидала свой город. Прямая ростом, спиной, она строго зачесывала свои светлые волосы. Ни один волосок не выбивался. Губы ее были всегда сжаты, чтобы не произносить лишних слов, голубые глаза ее всегда глядели сухо и строго и редко улыбались. Она мудра, моя мать, прямодушна характером, испытывает отвращение к любому криводушью и уловкам. Всегда одета в темные одежды, передник снимает с платья лишь перед посещением церкви, для этого надевая на свою светловолосую голову кружевной чепец. Утром она встречала нас в кухне, прижав к переднику большую круглую буханку хлеба, и отрезая каждому из восьмерых детей ломоть. Ряд больших белых чашек с толстыми стенками – на столе, а мы стоим вокруг него, готовые к утренней молитве. Молились все вместе, а я в это время по-детски воображал, что я вообще не сын моей матери и не она меня родила. Я сын принцев, который был оставлен и подобран часовщиком и купеческой дочерью. Они явно не подходили к моим мечтам. Но в день шествия, доктор, я шатался по улицам Нюрнберга, пытаюсь сбежать от коричневого нашествия. Передо мной стоял облик матери – сухой, понимающей, бесцветной. Но это был образ истинной принцессы. Ее постоянно сжатые годы никогда разомкнутся, чтобы произнести – «Хайль Гитлер».

Только сейчас Шпац опускается в кресло, перед Александром. Печальное лицо Шпаца опало, и он с речью произносит:

– Но я нашел наш дом запертым! Отец и мать не закрылись в своих готических стенах, а пошли в центр – стать зрителями жонглерского выступления солдат Гитлера. Я сидел на ступеньках своего дома. Вечерело, но Нюрнберг сиял передо мной, как в зените солнечного дня. Нацисты устроили факельное шествие к замку Барбароссы. Там, на древних стенах, встал Гитлер, окутанный, словно бы фатой, алым мерцанием, как древний бог, окруженный огнем тысяч факелов. Я, верный ваш слуга, сидел в темноте. Патрицианские дома вдоль реки были темны, и только у ворот слабо светили фонари, беспомощные на фоне темной реки, как искры, вслепую летящие во мгле. Не знаю, доктор, почему, но именно эти бледные искорки, вселяли надежду в мое сердце. Я сбежал со ступенек моего пустого дома, небольшое расстояние отделяло меня от места, где отец мой и мать вопили вместе с несущими факелы солдатами. Они не дошли до замка Барбароссы. К речи Гитлера, который представил себя воплощением кайзера Барбароссы из старой легенды, вовсе не умершего, а дремлющего заколдованным в своем замке тысячу лет, пока не вернется он в жизнь вместе с возрождением Германии, к речи Гитлера-Барбароссы родители мои не прислушались. Конечно, они вошли в одну из многих церквей по пути. Я обошел все церкви в поисках родителей, но обители Божьи были пусты, в каждой из них я был единственным посетителем. Одинок стоял напротив Дома священных обрядов, созданного гением Адама Крафта, здания в три этажа, до капеллы, опирающегося на три каменных барельефа, в середине которых статуя самого Адама Крафта. Я смотрел на облик этого великого человека, и узрел боль и мятеж в его руках, сжатых в кулаки. Я бежал из церкви в церковь, и впервые в моей жизни увидел, что лики святых – на цветных оконных витражах, в камне, в бронзе, в дереве – во всех церквях Нюрнберга, лица жителей города. Святые, ангелы, сыны Божьи – обычны лицами, полными человеческих страстей, некрасивыми, с дикими взглядами, святые без святости. Лица, лишённые нежности, мечты, несут в вечность облики и души патрициев. Ведь мастера Нюрнберга рисовали, лепили, гравировали, отливали облики горожан, увековечили людей своего поколения. Доктор, церкви Нюрнберга полны душами отцов этих сыновей, орущих ныне на улицах города. Когда я кинул взгляд на скульптурную группу «Распятие» работы Вейта Штоса, которого преследовали «просвещенные» патриции вольного города Нюрнберга, держали его в тюремной яме, унижали его, выжимали из него последние капли души, я увидел все страдания скульптора на лице Распятого. Вечность бездонного страдания. Я бежал из церкви. Нюрнберг сейчас тих. Шествие факелов дошло до замка Барбароссы-Гитлера. Оно освещало холм огромным пламенем. Темные ночные небеса пылали. Рев труб и барабанная дробь слились с ликованием людских толп. Город был пуст, дома темны. Из некоторых окон старики и инвалиды тоскливо выглядывали в сторону замка. Я одиноко шатался по улицам, добрался до здания старой гильдии мясников. Оно тоже было построено во времена веры. Перед ним в камне – откормленный бык, знаменитый, из легенды, который никогда не был малым теленком, а прямо вышел из чрева матери большим быком, был оскоплен и превращен в рабочую скотину, ни разу не впрягаемого в ярмо телеги. Родился быком и помер быком. Пришел я на ступени здания старой гильдии под оскопленным быком, и там я, невеликий художник Нюрнберга, внезапно понял то, что ухватили великие мастера за сотни лет до меня. Великие патриции вольного города Нюрнберга, померли до того, как и вправду стали великими. Буржуа великими так и не стали. Они были откормлены своими жирными богатствами, заперлись в узких готических стенах их богатого города и превратились в тяжеловесных, неповоротливых, толстошеих, не умеющих работать, как этот бык. Корабли бороздили моря, открывались новые земли, расширялся мир, совершались революции, возникали новые теории, человеческий дух достиг невероятных высот. И только патриции Нюрнберга, и горожане города остались привязанными к ломящимся сытостью горшкам с мясом, и не устремляли своих взоров в дали, а лишь на пузатые бочки с вином в своих подвалах. Еще сотню лет откармливали себя изобилием, оставленным им в наследство отцами, и по сей день помирают оскопленными, как тот бык. Чем больше жирели, тем больше разлагались. Поэтому старалась патрицианская мать все

дни ее жизни прижимать к груди хлеб, словно хлеб этот из золота, и в глазах ее жила тревога, что хлеб этот может слишком быстро кончиться. И отец, сын ремесленников, старался экономить, и маленький грош стал господствовать над его жизнью. Ни величие, ни красота, ни вера и ни надежда не заполнили жизнь отца и матери, потомков патрициев столетия веры.

Гром великого ликования донесся до меня с замка. Старые уважаемые здания вольного и гордого города Нюрнберга сотряслись этим ликованием, и мне стало ясно, почему мои отец и мать находятся среди ликующей толпы. Я увидел, как вечно поджатые губы матери, в конце концов, разомкнулись, и наполовину прикрытый глаз отца широко раскрылся, и в нем отразилось новое послание, новое Евангелие, ибо не погасла надежда в душах патрицианских потомков на то, что им вернется великое богатство их высоких предков. Просто, самым примитивным, но весьма реальным образом бык возродился к жизни в облике золотого тельца, который перескочил в действительность через столетия. Отец и мать, вместе с горожанами моего города Нюрнберга, ликуют, глядя на мага, обещающего им возрождение в образе несмысленного теленка. Это невозможно понять умом, – Шпац хлопает себя по лбу, – а лишь брюхом, – и он сильно ударяет себя по животу, вскакивает со стула, носится по комнате, как сквозняк, возвращается на место, вдыхает дым сигары Александра, заходится кашлем. – На ступеньках здания старой гильдии, под быком, я подвел черту в своей тетради, доктор, и больше ее не отрою. Я вернулся в Берлин уже не Вольдемаром, художником, уроженцем Нюрнберга. Шатался по улицам, а тетрадь моя осталась в ящике стола. Чем я занимаюсь? Кружусь по городу и смеюсь злорадным смехом, пугаю людей и пугаюсь самого себя, возвращаюсь в комнату, извлекаю из ящика свою тетрадь. Вырываются из нее злые привидения и преследуют меня. Как я ни стараюсь запереть их в ящике стола, они выскользывают оттуда, обступают меня и надсмехаются надо мной: Вольдемар, Вольдемар, ты злодей, но нет у тебя смелости стать большим злодеем, потому ты злодей малый. Замышляешь небольшие подлости, и отрещиваешься от малых грехов, по следам которых идут люди, чтобы сбежать от большого греха... Я стал скандалистом, доктор, я громко отрицаю художественные работы моих товарищей, встречаюсь с сомнительными молодыми художницами, тянусь к рюмке, устраиваю свары в трактирах, и так, ненавидя зло, стал сам злодеем из злодеев. Но внезапно пришел конец пляске привидений. Господин Леви ушел из жизни. Я закрылся в своем одиночестве, чтобы изобразить его облик. Злодейские голоса втянулись в ящик стола и замолкли. Но когда портрет господина Леви был готов и вышел из-под моей власти, снова мой мир опустел. И когда снова вырвались из ящика привидения, взяли меня в кольцо, чтобы меня поглотить, я сбежал от них, спасая душу в обществе по охране животных, и прячусь за юбками уродливых женщин, безмужних, боясь снова быть втянутым в малые грешки. В ящике отдыхает тетрадь, соблазняющая меня продаться дьяволу. И теперь я спрашиваю вас, доктор, Александр: можно ли, греша малым грехом, спасти моего пропащего друга?

– Нет, – осторожно стряхивает Александр пепел с сигары, – ни в коем случае! Не дай вам Бог стать нацистским пропагандистом. Ни за что!

– Но почему? Ведь спасти Аполлона я смогу, только заключив с ними союз. Ему помогут не друзья, а враги. Цена – моя душа. Но что, в конце концов, осталось от этой души? Она – на продажу. Опустошенный сосуд жалкого и смешного человека.

– Нет! – резко выговаривает ему Александр. – Я запрещаю вам! Вы что, не понимаете, Вольдемар, что нельзя спасти добро в союзе со злом, даже если оно невелико? Вольдемар, берегитесь! Зло всегда требует полной отдачи даже за малое одолжение, и еще никогда не выпускало из своих когтей того, кто попал в его руки. И даже, друг мой, если вырвешься из его сетей, нити будут тянуться за тобой всю жизнь. Ценой предательства самого себя, даже видимостью такого предательства вы не спасает жизнь ближнего. Я не разрешаю вам, Вольдемар.

Слова Александра звучат на этот раз самым решительным образом, и Вольдемар совсем выходит из себя.

– Извините, – кричит он, – извините меня, если скажу вам то, что накопело у меня в сердце. Вы нарушаете ваш профессиональный долг, Александр. Вы защитник Аполлона, и долг ваш принять любое предложение, которое сможет спасти жизнь вашего подзащитного. Тем более, что вы посланы в Германию – спасти евреев. Вы уклоняетесь от цели вашего приезда сюда из-за ничтожной совести такого, как я, маленького немца, жалкого и смешного Фауста.

– Я не хочу спасти еврейскую душу, какой бы она ни была, ценой души другого, даже если он немец и даже если продам его задешево или с большой выгодой.

– Так? Я слышу ваши слова и чувствую, что внезапно заброшен в другое столетие. Вы не из наших дней, где торговля душами – каждодневное дело. Вам следует приспособиться к нашим дням.

– Сядьте, в конце концов! Голова моя ходит кругом от вашего бега по комнате.

Теперь, когда Шпац послушно сел, встает Александр, подходит к окну, возвращается, становится напротив Шпаца:

– Вольдемар, я вас подозреваю в том, что вы собираетесь продать им ваши рисунки не только для ускорения суда над Аполлоном, но и самому предстать им их человеком, чтобы спокойно вернуться к своим малым грешкам. Этаким союз, заключенный с малым бесом во имя одного большого великодушия. И с этих пор, Вольдемар, душа твоя будет свободной. По ту сторону добра и зла, Вольдемар, начинаются владения дьявола. Я запрещаю вам это. Запрещаю!

– Нет, нет, нет. Не подозревайте меня в этом. Даже если я продам рисунки Бено, и они будут иллюстрировать нацистскую поэму, даже если на меня будут презрительно указывать пальцем те, которых я любил, и отдаляться от меня все, кто мне дорог, душа моя не сдастся дьяволу! Она защищена от этого!

– Откуда вы знаете? Откуда такая уверенность?

Теперь Шпац говорит спокойным голосом:

– Дело простое. Во-первых, я член общества защиты животных, и нет у меня времени на всякие малые злодейские уловки. Я вам уже сказал, доктор, а вы не услышали: я вступил в это общество, чтобы под покровительством дюжины добрых и некрасивых женщин остерегаться зла. Кроме этого, я не могу быть злодеем из-за пари.

– Пари? – прерывает его с удивлением Александр, несмотря на то, что не в его правилах вмешиваться в слова собеседника. – Вы говорите, пари?

– Именно это я говорю. Благодаря пари я человек хороший, и, очевидно, им буду. Я заключил пари с братом-близнецом. Когда я присоединился к обществу защиты животных и получил должность управляющего фермой собак и кошек, я перешел жить из города в небольшой барак на ферме. Заброшенное чудесное место. Но перед этим было у меня такое ощущение, доктор, что я отдаляюсь от этого мира, будничного и простого, куда-то на обочину жизни, и дорога туда долгая и очень далекая. Кто меня там посетит? Поехал я проститься с моей семьей в Нюрнберг. Брат-близнец там живет, там женился. Брат абсолютно не похож на меня. Зовут его – Фридольф. Этакое мягкое ласкающее имя. Он первым вышел из материнского чрева, я – за ним. И с тех пор всегда был первым во всем. Ему первому мать отрезала хлеб на полдник в школу, он всегда одолевал меня в шипании и тумачах, которые мы отвешивали друг другу, но лицо его всегда оставалось гладким, спокойным, ласковым, как его имя. У меня же лицо всегда было страдающим, злым, в синяках. В глазах отца и матери именно он успешнее всех сыновей. Он работает чиновником в муниципалитете Нюрнберга, жена из уважаемой в городе семьи зажиточных пекарей. Он человек порядка и формы, и такова его жизнь, но глаза его холодны и характер сух, и когда мы встречаемся, он привычно читает мне мораль в назидание: «Вольдемар, человек обязан хранить себя, свои права, и уметь извлекать пользу из всего. Требуй своего, Вольдемар, а не пользы другим. Никогда люди не платят добром за добро. Человек всего-то пес на двух ногах...» Слова эти всегда вызывали во мне гнев, но на

этот раз я просто вышел из себя! Я поспорил с ним, заключил пари на то, что человек – не пес. И я хожу на двух ногах, но всегда буду человеком. Поспорили мы на период в пятнадцать лет. После этого приведем свои доказательства, кто он – это существо на двух ногах. В течение пятнадцати лет я должен доказать, что я – человек. Если нет, я проиграю пари...

– Хм-м-м!

– Все вы хмыкаете, доктор, и молчите! И каков смысл в этом пари? Нет в нем никакой логики. Среди собак и кошек не трудно быть человеком. Но, быть может, мне не удастся быть человеком среди людей? Во всяком случае, не в наши дни.

– Но вам дано, Вольдемар, доказать знакомым и друзьям Аполлона, что они все же люди, и долг их спасти невинного. Это в ваших силах.

– Может быть, доктор. Я выполню вашу просьбу, доктор, в воскресенье. Только для вас я сделаю это, только для вас. Наконец-то вы сказали, что я часть вашей жизни, несмотря на то, что я немец.

– Я такое сказал? – изумился Александр. – Это вообще не в моем стиле.

– Ну, не прямо, а намеком. И в вашем намеке больше, чем во всех долгих речах вашего собеседника.

– Куда? – с тревогой спросил Александр, видя, что Шпац поднимается со стула.

– Возвращаюсь на собачью ферму, доктор.

– Как вы туда доберетесь. Ведь продолжается всеобщая забастовка транспортников. Как вы вообще добрались сюда в столь ранний час?

– Не беспокойтесь, доктор, у меня есть свой транспорт.

– Свой? – Александр замечает небольшой, странного вида автомобиль, у края тротуара, напротив дома, открытый, похожий на гоночную машину огненно красного цвета.

– Наша. Мы ее соорудили из рухляди.

– Мы? Вы и дюжина ваших женщин?

– Нет, нет, доктор, что вы? Я и Виктор, мастер художественного свиста, которого я вам представил в тот вечер, в ночном клубе. Не помните?

– А-а? Да. И он представился мне, как добрый друг Аполлона.

– Это было тогда. Аполлон еще его интересовал. Теперь он интересуется только автомобильными гонками, и только об этом бубнит каждый день. Он уже строит для себя новый гоночный автомобиль, а это старье, что мы собрали вместе, пока отдал в мое распоряжение. Он хороший друг – свистун Виктор.

– Вольдемар, – испытывает его Александр, – кроме него нет у тебя добрых друзей? Извини меня за вопрос, почему у тебя нет подруги? Ты ведь такой добрый и симпатичный парень.

– Я симпатичный парень? Только вы так полагаете. Но девушки... Девушки, к которым лежит мое сердце, не желают меня. А те, которые меня желают, меня не интересуют.

– Мне очень жаль, Вольдемар, что в ближайшее воскресенье вы будете так заняты. Хотел пригласить вас присоединиться ко мне в поездке на старое латунное предприятие, к месту моего рождения. Фабрика закрыта, но в ней в последние недели организован лагерь для подготовки еврейской молодежи к жизни в стране Израиля. Я хотел бы показать вам эту ферму...

– Нет, большое спасибо. Хватит мне своей фермы, доктор.

Зависть слышалась в его словах, сильнейшая ревность к этой веселой, полной свежих сил, молодежи, окружающей Александра, как одна большая семья. С такой теплотой относятся они друг к другу, что Александр, сдержанный и деловитый, становится в их среде веселым и сердечным. Шпац внезапно почувствовал себя во много раз более одиноким и несчастным при упоминании Александром своих поклонников.

– Ах, доктор! Не знаете вы, как хорошо быть евреем.

Внезапно он быстро ретируется, сказав лишь – «До свидания». Пересекает комнату и хлопает дверью. Александр видит в окно Шпаца, движущегося сквозь снежную вьюгу. Воротник пальто поднят, ноги делают большие шаги через сугробы. Красный автомобиль окутывается клубами дыма, напрягаясь изо всех сил, и, наконец, сдвигается с места. Неожиданно Александру вспомнились строки куплета из еврейского старого мюзикла, который он услышал от еврейского студента в Польше:

Боже, Отче наш,
Нет жалоб к Тебе на устах моих,
Благодарю тебя день ото дня,
Что Ты сделал евреем меня.
Душа моя млеет
От того, что ты сделал меня евреем,
И на протяжении всех моих дней,
Я счастлив, что я – еврей.

И улыбка, лукавая и печальная, возникла у Александра на губах.

Глава седьмая

Утро сюрпризов!

Сани на улицах Берлина. Давно исчезли сани из городского пейзажа, но грянула забастовка транспортников, и вернулись они на улицы столицы. Вид этих больших открытых карет, с облупившейся краской, спешно извлеченных из старых складов, привлекал всеобщее внимание – особенно лошади. Морды их погружены в кожаные маски, тела обтянуты желтой тканью, вожжи и сбруя увешаны весело звенящими колокольчиками, они тяжело дышат, белый пар из горячих ноздрей и ртов вырывается в студеной воздух, кнуты посвистывают, и так весело-весело! Точно, как в рассказах деда о сверкающих белых зимах в добрые старые времена.

Только дед рассказывал, что тогда кареты на полозьях ожидали пассажиров на всех перекрестках главной улицы, и кучер не трогался с места, пока карета не наполнялась пассажирами. Кучер стоял около своей зимней кареты, покрытой блестящим черным или белым лаком. На голове его был высокий цилиндр, на плечах широкая серая накидка, руки в белых перчатках, и голова наклонялась в сторону прохожих, приглашая к поездке, как бы говоря: «Садитесь ко мне, господин, нам недостает еще одной печальной души, чтобы тронуться в путь». И всегда дед оказывался той недостающей печальной душой во спасение остальных пассажиров, которых ожидание вгоняло в депрессию. Потому все кучера на всех углах города кланялись ему до земли дважды. Деду всегда было, куда и к кому ехать. Одна его знакомая, по имени Анна, очень любила кататься на санях. Родственники у деда были на каждой улице и в каждом квартале. Был у него дядя, брат матери, по имени Аарон. Этот дядя торговал коврами, был богачом, отцом восемнадцати сыновей от двух жен. И все эти сыновья были долгожителями, и тоже обзавелись многими детьми, как их отец. Умер дядя Аарон в доброй старости, девяносто шести лет от роду, оставив после себя целую династию сыновей, внуков, правнуков и праправнуков, и все потомки, появившиеся на свет в год его кончины, были названы его именем, и всего их было пятьдесят. И дед скользил на санях по белу снегу, навещая всех пятьдесят последышей, и нет такого квартала в Берлине, где бы ни проживал кто-либо из этих родственников. А они были связаны со всеми делами, вершившимися в огромном городе. Когда он хотел узнать, как обстоят дела в бизнесе, какой-либо Аарон ему нашептывал последние новости. Все политические новости и сплетни передавал ему другой Аарон, входящий в коридоры парламента. В случае грабежа или убийства, дед жаждал узнать подробности до мелочей, и на этот случай находился Аарон, знающий все в о мире преступности. Если он хотел посетить новый спектакль, и все билеты были проданы, третий или пятый Аарон доставал ему контрамарку. И для покупки нового модного пальто он даже пальцем не шевелил без Аарона, специалиста по верхней одежде. Потому для деда не было более приятного развлечения, чем скольжение на санях от Аарона к Аарону.

– Ах! – вздыхала Иоанна. Как бы она хотела делать то же самое, что и дед. Но нет кучеров с белыми перчатками, приглашающих ее с поклонами, как «недостающую душу». На головах кучеров, управляющих старыми потертыми каретами на полозьях нет блестящих цилиндров, а обычные кепки, а под ними – толстые шерстяные платки, окутывающие головы и лица. Сегодняшние кучера не кланяются пассажирам и не посвистывают кнутами, а только громко орут: «Не втискиваться! Не набиваться! Вы мне разнесете сани, волчья стая!» Да и не собирается Иоанна навещать какого-либо Аарона. Она бы хотела навестить графа-скульптора в старой части Берлина. Это ее большая тайна. В дни, когда она должна пройти облучение кварцем для загара у доктора Вольфа, она едет к графу-скульптору и позирует ему долгие часы, ибо он пишет маслом ее портрет. Вот, и сегодня она обещала придти, поэтому не могла согласиться на предложение Эдит, и перенести процедуру на послеполуденные часы. Тут же, когда Эдит довезла ее на своей машине до ворот школы, она бегом бросилась на площадь, к ближайшей

бастующей трамвайной остановке, где останавливаются кареты и набирают пассажиров и катят по тому же трамвайному маршруту. У остановки длинная очередь, и уже видна приближающаяся карета, начинается толкотня, крики и ругань.

Уже более часа топчется Иоанна на остановке и не может втиснуться в карету. Лицо ее и уши посинели от стужи, которая щиплет кожу. И вдобавок к этому доводят ее полы юбки. Это синяя юбка, красивей и новей всех остальных, в нее Иоанна любит наряжаться для графа. Но так как подол юбки распоролся, Иоанна, торопясь, закрепила его булавками, и теперь, когда она перебирает ногами, стараясь согреться, при каждом движении булавки колются.

– Дайте мне забраться в сани, – кричит Иоанна в отчаянии, – мне надо добраться до школы! Я тороплюсь в школу!

И как укол булавки в ногу, колет ее сердце ложь. Но она не помогает. Острые локти отталкивают ее назад, и нет у нее шансов добраться до лестницы кареты. Глаза ее наполняются слезами и... Господи Боже! За пеленой слез она видит в санях сидящего на облучке «графа Кокса», того самого, из старого еврейского двора! И хотя отношения с ним у Иоанны не совсем нормальны с тех пор, когда она пошла с графом-скульптором хоронить порванный еврейский молитвенник, граф Кокс смотрит на нее сердито, она все же кричит:

– Граф Кокс! Гра-а-аф Кокс!

– Иисусе! Черная девочка графа! Поднимайся и садись рядом со мной на облучок.

И не только приглашает ее, а помогает взобраться на высокий облучок. Лицо ее искажено гримасой, булавки впиваются в ноги.

– Куда? – спрашивает ее граф Кокс.

– К Нанте Дудлю, – мямлит Иоанна, бормотаньем скрывая правду. Но граф Кокс равнодушно произносит:

– Ну, к графу-скульптору. Иисусе, дорога слишком далека. Ты замерзнешь от стужи, пока доедешь, – и он милосердно покрывает голые колени Иоанны одеялом.

И вправду далека дорога к графу. Сани скользят вдоль всей реки Шпрее, останавливаясь, время от времени. Что делать, чтобы не чувствовать длительность дороги? О чем думать? Конец любого размышления... граф. А дороге нет конца. Внезапно, приходит идея в голову Иоанны: она двинется по стопам деда, как бы от Аарона к Аарону. Каждая остановка – Аарон. Пока дойдет до пятидесяти, доедет до графа, в старый Берлин. Разве она не знает бесконечное число баек об этих родственниках деда по имени Аарон? И словно бы она знает лично каждого из них, стучит в их двери, входит в их дома, ведет с каждым из пятидесяти нескончаемые беседы, несмотря на то, что дед никогда не брал ее ни к одному Аарону. Весьма редко она видела кого-то из них в отчем доме. Кто-то из них посетил дом после смерти отца, тогда она впервые их увидела. Да и дед уже не навещает их. Не только потому, что исчезли сани с улиц Берлина, и не столь радостна поездка от Аарона к Аарону, какой была раньше, но потому, что последние из них не те, какими были раньше. Часть из них ушла мир иной, и о них дед рассказывал с печалью: они не удостоились долголетия, отличавшего их семью. Часть умерла обычной смертью, некоторые погибли на последней войне, а оставшиеся в живых, вернулись домой слепцами, инвалидами. Некоторые тронулись умом от грохота пушек. Эти в большинстве, все же, пришли в себя после войны. Богатство их было потеряно при инфляции, и с тех пор они все вспоминают те хорошие дни, и считают себя ужасно несчастными, а дед не уважает несчастных людей, даже если они родственники.

Иоанна видит вдоль долгой дороги бесконечный ряд окон. Лица людей несчастны, и ей очень жаль тех последних родственников, потерявших свои богатства. Чтобы отвлечься от бед, Иоанна решает посетить до следующей остановки одного из родственников, по имени Аарон. Но дойдя до первого, останавливается у дверей. Этот Аарон был тайным советником. Последние из этой плеяды были не только советниками деда, но также советниками кайзера Вильгельма. Любил кайзер всякие высокие степени и щедро раздавал их своим подопечным, тем,

которых уважал. Последние все были советниками: по торговле, тайные, советники правительства. Каждый последний Аарон – со своей степенью. Хотя Иоанна не такая революционерка, как Саул, но против кайзера Вильгельма она решительно выступает. Нет! Не пойдет она на встречу с советником кайзера Аароном, на порог его не ступит, даже если, именно, благодаря мыслям о нем, доберется до графа.

Еще одна остановка. И граф Кокс орет во все горло:

– Что за толкотня! Только три свободных места. Эта забастовка превращает людей в хищных зверей.

– Плохое дело, эта забастовка, – говорит Иоанна, топает ногами, и все булавки впиваются ей икры.

– Что плохого в забастовке? – не соглашается с ней Кокс, собирая оплату с новых пассажиров – заработок неплох. В конце концов, и кучера-частники с прибылью.

Улица пряма, как линейка, и конец ее далек. Некуда сбежать. Иоанна вынуждена в своем воображении войти в дом одного Аарона. Не все они были советниками кайзера. Один из них был лордом! И вот уже Иоанна жмет ему руку... Лорд Аарон был в молодости послан в Лондон осваивать производство готовой одежды. Приехал оттуда в клетчатом костюме по лондонской моде. Говорил по-немецки с английским произношением. Акцент у него был гортанный берлинский: слова клочкотали в горле. Он старался походить на англичанина во всем. Остальные сорок девять его родственников, по имени Аарон, исходили гневом, слыша его высокомерно уничтожающие слова о Германии, в общем, и о Берлине, в частности. Ничего ему здесь не нравилось. Ни кайзер, ни правительство, ни пиво, ни берлинцы, пьющие это пойло. С большим вдохновением он рассказывал о Лондоне, огромном городе с небольшими домами сельского типа, и у каждого свой садик, и с отвращением показывал пальцем на серые хмурые дома Берлина, у которых нет садиков и клумб, только высокие запыленные стены-брандмауэры, построенные для того, чтобы отделить дом от дома в случае пожара. Именно, это предназначение стен вызывало ехидство Аарона-лорда, именно, это привело к жестоким столкновениям с остальными его тезками, главным образом, проживающими в Берлине, о котором он говорил, что в этом городе нет ни красоты, ни культуры, ни искусства, короче, ничего, что расширяет знание и вообще кругозор человека. А ведь, вопреки Аарону-лорду, все остальные его тезки любили кайзера всей душой, как и Германию, и Берлин, и гордость их всем этим не имела предела.

Однажды проведал его и дед, узнать новости из Лондона. Прогуливались они по роскошным Липовым Аллеям – Унтер ден Линден, глядели на парад войск, возвращавшихся с маневров во главе с военным оркестром. Дед приветствовал их помахиванием своей трости, а «лорд» кривил носом. Фланируя, они прошли мимо знаменитого кафе Кранцлера, и в этот час на веранде кафе сидели сливки офицерства, облизывая сливки мороженого, и делая замечания по поводу всех, проходящих мимо. Когда прошли мимо них дед и Аарон, в своем клетчатом лондонском костюме, походкой «лорда», его окликнул один из молодых офицеров, который ел мороженое в компании дамы:

– Поглядите, какой смешной жид.

Дед поднял голову, несмотря на то, что стучал тростью по тротуару, и собирался продолжать прогулку, но «лорд» не собирался делать вид, что не слышал реплику в свой адрес. Он быстро взбежал по ступеням кафе, и офицер не успел вздохнуть от неожиданности, как пятно звонкой пощечины багровело на его щеке. Дама рядом с ним завизжала. Но этого было недостаточно: «лорд» вызвал офицера на дуэль на пистолетах. Такого еще слышно не было в Берлине, чтобы еврей вызвал кайзеровского офицера на дуэль! Дед пытался уладить дело мирным путем, объясняя родственнику, что не стоит стрелять в офицера, хотя наглость того велика, но заработная плата его мала. Но Аарон не отступал.

– Вы, немецкие евреи, – кипел злостью и кричал Аарон, – готовы унижаться и принимать любые плевки в вашу сторону. Получаете удар и умираете от страха. Я – нет! – и он бил себя в

грудь, с явным вызовом деду, который, как известно, не был из породы «умирающих от страха» и ни перед кем не склонял голову. Но так же, как дед шел своим путем, Аарон-лорд шел своим, и стоял на том, чтобы застрелить офицера, но колесо фортуны обернулось не в ту сторону: офицер застрелил его, и тем самым погасил свечу Аарона-лорда. Дед ужасно переживал его смерть, несмотря на то, что тот его сильно унизил своими обвинениями. «Жаль, – говорил дед, – что так трагично закончилась жизнь гордого еврея, ибо мало среди них таких гордых, за исключением Аарона-лорда, и кроме него он знает, быть может, одного-двух. Но дело в том, – добавлял дед, – что лорд Аарон был космополитом, и это было плохое в нем и абсолютно лишнее».

Иоанна ничего плохого не находит в космополитизме лорда Аарона, тем более длинная улица пришла к своему концу, и посещение дяди космополита приблизило ее к графу. Уже видна белая замерзшая река, как хрустальное полотно. Шоссе по обе ее стороны белы и чисты, и влекут в сверкающую даль. Нет! Космополит Аарон не был прав, говоря, что Берлин уродлив. Город красив, даже очень!

Остановка. Пассажиры сходят с кареты, садятся новые.

Дело с космополитом Аароном закончено. Новая остановка и новый Аарон. Дом его, вероятнее всего, где-то здесь, среди красивых зданий с приветливыми фасадами, выстроившихся вдоль реки. Здания эти в прошлом были дворцами аристократов и уважаемых граждан, и этот Аарон был уважаемым гражданином города, преуспевающим бизнесменом и считался в общине большим богачом. Сиротский дом и бесплатная столовая для бедных и нищих по сей день носят его имя. Дед его очень уважал, но с оговорками. Дела этого Аарона, главным образом, были связаны с железной дорогой и поездами. На стене его офиса висела огромная фотография первого в мире паровоза, соседствующая с портретом его изобретателя Георга Стефенсона в черном высоком цилиндре и темном костюме, фалды фрака которого походили на ласточкины хвосты. Аарон с гордостью указывал на Георга Стефенсона, словно был с ним в родстве, словно паровоз – глава его семьи, а не он, Аарон, продавец ковров, муж двух жен и отец восемнадцати детей. Аарон этот был внуком старого Аарона, и дела его с поездами начались в дни расцвета, дни создателей основ Германии, в дни железного канцлера Бисмарка, открывавшие инициативу любому, обладающему умом и деловой хваткой. Удача улыбнулась тогда деду и Аарону, который строил железные дороги по всему миру, в отдаленных районах Германии, и массы людей покупали акции преуспевающей торговой фирмы Аарона, зная, что там деньги их гарантированы. Только дед не вложил ни гроша в эти акции. Дед не любил заниматься бизнесом с членами своей семьи, и в этом было его счастье. Настал день, и преуспевающий Аарон полностью обанкротился и пустил себе пулю в висок, увлекая за собой множество людей, которые вложили весь свой капитал в его железные дороги. Столь известное имя самоубийцы все хором клеймили позором, называя его обманщиком и авантюристом. Все газеты в рисованных его портретах назойливо выделяли орлиный нос клювом, фамильный нос всех братьев по имени Аарон, который при жизни и успехе ему не мешал, теперь же был карикатурно увеличен с явным намеком. Через некоторое время дед пошел выразить соболезнование семье, не поехал, ни на санях, ни в карете, пошел пешком, с подчеркнутой скромностью, чтобы не обратить на себя внимания бесчинствующей у дома Аарона толпы, выкрикивающей:

«Знай, Ицик! Знай, Ицик! Позор обманщикам! Вон!»

В роскошном зале приемов дома Аарона, под большим масляным портретом хозяина, стучал молоток распродажи. Аукцион был в разгаре. Зал был полон народа и оглушал множеством голосов. В темном углу одиноко сидела вдова Аарона, одетая черное платье. Голова ее была опущена. Молоток стучал, и вещь за вещь переходила в чужие руки. Дед ничего не купил на память из вещей преуспевавшего некогда Аарона, и не хотел никакой памятки от родственника-самоубийцы. Дед считал, что евреи должны быть особенно осторожными и расчетливыми, но таких евреев было мало. Кроме него самого, быть может, один-два. Но Иоанна

считает, что дед повел себя с вдовой этого Аарона и его детьми не очень порядочно. Мог дать им хотя бы половину своего капитала, и оставшегося ему бы хватило сверх меры. Но дед не дал им ни гроша. И от позора и нищеты они эмигрировали в Аргентину, и по сей день ничего о них не слышно. Дед даже не взял к себе в дом вдову, несмотря на то, что в доме было достаточно свободных комнат. Он не желал видеть в своем доме вдову в черных траурных одеждах... Иоанна пожимает руку женщины в черном одеянии, с лицом, покрытым слезами. Картина эта, на рекламе, простерта на высокой стене, той самой, охраняющей от пожара, которая столь ненавистна была лорду Аарону. Ноги женщины топчут слова объявления большими буквами:

Госпожа сменила цветные одежды,
На черные одеяния, лишённые надежды.
Большое собрание
Траурного одеяния —
Нигде, кроме,
Как в Отто Гарбера торговом доме!

Иоанна с жалостью пожимает руку самоубийцы Аарона и говорит ему, что не было никакой необходимости покончить собой. Банкротство не может быть этому причиной. В наши дни много банкротов, и никто не кончает жизнь самоубийством.

– Остановка! – Кричит граф Кокс, и резко останавливает коней прямо у плаката с женщиной в трауре. Остановка настолько неожиданна, что Иоанна, погруженная в свое воображение, чуть не падает со своего места, и булавка острой болью вонзается ей в левую ногу. Здесь сходят все пассажиры, и места заполняют новые, невероятная толкотня и поток ругательств из уст Кокса. Сани доезжают до угла улицы пересекающей мост через реку, шоссе, прогулочную, поворачивает на запад, в сторону города, и крик вырывается у кучера.

– Что за невезение! Черт возьми! Гром и молния!

Демонстрация пересекает мост и заполняет улицу. Путь к графу перекрыт. Иоанна опускает голову. Она принимает невезение, как само собой разумеющееся. Мог ли каким-то образом Аарон, сошедший с ума, приблизить ее к графу? Понятно, что из-за этого Аарона все неудачи. Демонстрация ширится и ширится, и конца ей не видно. Шагают мужчины и женщины по снегу длинными шеренгами, звенья которых раскачиваются с шумом, тянут ноги, как пехотинцы, возвращающиеся с войны, сжавшиеся от стужи в громоздких ветхих одеждах, делающих их тела бесформенными, и лица их, закутанные в шерстяные платки и шали, лишены выражения. Среди громадных зданий они выглядят потоком гномов. Демонстрация на ветру и по снегу ползет медленно, снежный туман окутывает людское месиво. Не слышно песен, флаг не развевается над головами. Лишь немая бесконечная масса людей, словно сверкающе белая улица вымывается темными волнами, вырвавшимися из какого-то мутного источника в глубинах огромного города. Конные полицейские с резиновыми нагайками в руках сопровождают демонстрацию. Пуговицы сверкают на мундирах. Кони Кокса перекликаются ржанием с лошадьми полицейских.

– Покинуть улицу! Сойти с балконов! Зайти в дома! – командует усатый великан-полицейский, под которым гарцует конь по снегу. Он словно бы сошел с одного из пьедесталов памятников, украшающих мост. Прохожие и жильцы домов тут же подчиняются приказу полицейского и исчезают с балконов и улицы. Полицейский продолжает:

– Мы немедленно освободим дорогу! Немедленно!

– Благодарю вас, господин, – комментирует один из пассажиров, взмахнув рукой, – улица для движения, а не для демонстрации!

– Конечно! – подтверждает граф Кокс своим обычным сердитым голосом. – Теряем время и деньги. Это уже третья демонстрация перекрывает мне путь. Каждый день они здесь шагают.

И зачем это им нужно? Они ведь безработные, а не работники транспорта. Забастовщики и гроша не выиграют.

– Они организуют демонстрацию поддержки, – поучает Кокса Иоанна, – вы разве не читали плакаты, которые раздавали вчера и сегодня? В них коммунисты и нацисты призывают рабочих Берлина на демонстрацию поддержки забастовщиков.

Иоанна опускает голову. Некуда смотреть. Слева еще видна женщина в черном на стене, вдова Аарона. Справа – полицейский на белом коне. Впереди – демонстрация. Иоанну не трогаёт, что нацисты и коммунисты маршируют вместе. Ее абсолютно не интересует политика Германии. В Израиле она будет знать, что делать, если там случится такое позорное дело... но сердце нельзя утишить. И никакой Аарон не в силах увести ее мысли от этого ужасного сотрудничества.

– Дать дорогу транспорту!

Полицейские врываются в демонстрацию, разделяя шеренги. Демонстранты, удивленно выпрямив спины, лениво расступаются. Часть людей – с одной стороны шоссе, часть – с другой. Между ними пустой просвет. Полицейские дают знак движению. Демонстранты сопровождают взглядами каждую проезжающую машину. На их закутанных лицах живы лишь глаза, много глаз, море голодных сердитых глаз, окидывающих презрением едущих в машинах, и каждого полицейского. Снег хрустит под колесами автомобилей и копытами лошадей. Иоанна из кареты следит за сердитым взглядом одной женщины в темной одежде, стоящей на мосту, в первом ряду, выступающей на шаг из тесной толпы. Иоанна пугается. Какие у женщины глаза! Голодные и взбешенные! Сани уже проехали по проходу, между рядами, уже демонстрация сомкнула шеренги, а Иоанна все еще не отрывает взгляда от глаз женщины, ее облика, врезавшегося Иоанне в память.

– Покинуть улицу! Сойти с балконов! Зайти в дома! – продолжают кричать полицейские. Иоанна мысленно прячется за одним из домов от полицейских, от демонстрантов и глаз женщины. Торопится в дом еще одного Аарона, не того, кто был убит на дуэли или покончил собой, а того, кто радуется душе, – Аарона-мудреца! Этот вообще не любил гостей, но сегодня нет у него выхода: он должен принять маленькую родственницу по всем правилам гостеприимства. Аарон-мудрец тоже ушел из этого мира, но просто, в собственной постели, три года назад, за месяц до наступления 1929 года. Аарон-мудрец был в возрасте деда, хотя и не был его двоюродным братом, а сыном его двоюродного брата, поздний первенец Аарона, который был дважды женат и имел восемнадцать детей. Странные вещи происходили в семье деда, и голова начинала кружиться, когда дед начинал объяснять запутанные семейные связи. Никто, кроме деда, не может их уловить. Но день кончины Аарона-мудреца Иоанна помнит с чрезмерной ясностью. Дед был непривычно растерян, и, готовясь сопровождать гроб Аарона, бормотал»

– Как мог такой мудрец, как он, так рано уйти из жизни? Как?

Аарона-мудреца дед уважал больше всех родственников по имени Аарон. Этот Аарон, говорил дед, был похож на него, словно был его сыном, а не сыном двоюродного брата. В молодости этот Аарон был таким же пропащим в семье, как дед. Не потому, что он покинул отчий дом, а потому, что родители его покинули этот мир, когда он был еще подростком, и столовался вместе многочисленными братьями старше его. Кочевал от стола к столу, от одного брата-советника к другому брату-советнику его величества кайзера. Отсюда велико было его презрение ко всем степеням и чинам в общем, и советникам в частности. Ни разу не согласился получить ту или иную степень, хотя ему их предлагали бесчисленное число раз. Этот Аарон, подростком подбиравший пищу у чужих столов, стал одним из крупных банкиров Берлина и некоронованным королем биржи. Когда он расположился в своем дворце с фасадом из темного мрамора, огромном здании, властвующем своей роскошью над всеми зданиями улицы, тотчас же послал открытки всем своим братьям-советникам и попросил их фотографии. Все были взволнованы его скромной приятной для них просьбой и, естественно, откликнулись на нее.

Аарон-мудрец составил из этих фотографий большой альбом в роскошной обложке, и дал его в руки привратника, чтобы тот изучал все эти лица, пока не запомнит их. И когда затем привратник являлся к своему хозяину, уверенный в том, что запомнил все лица в альбоме, сказал ему хозяин: «Отныне да будет тебе известно: ни одному из них не давай ко мне входить!» Начисто отделился от семьи Аарон – биржевой король, и дед добавлял, что он действительно был мудрым, и мудрость эту получил от деда.

Аарон-мудрец рано ушел из жизни из-за убийства Вальтера Ратенау, стал себя странно вести: заперся в доме, отстранился от дел. Как говорится, кончен был бал биржевого короля! У него были многие годы очень близкие связи с семьей Ратенау.

До такой степени Аарон это был мудр, что слышал рост трав в поле... И когда пришел к нему отец Ратенау и развернул перед ним план электрификации Берлина, и все банкиры и бизнесмены надсмехались над ним и вообще сомневались в успехе этого плана, Аарон тут же предложил щедро инвестировать капитал в этот план, и вышел с большим выигрышем.

По ночам дед совершал прогулки по улицам Берлина, и цепи фонарей подмигивали ему. Дед останавливался под ними, размышляя над широкими полосами протянутого вдаль света, и говорил:

– Как бы выглядел Берлин без мудрости Аарона! Ну, скажите сами!

Но не только в связи с электричеством доказал Аарон свою мудрость. Он был великим коллекционером ценных раритетов, всего, что расширяло взгляд и увеличивало знание. Картины, скульптуры, марки, коллекции бабочек, курительных трубок, цветных стеклянных стаканов. Не следует забывать коллекцию рукописей на иврите, древних молитвенников. В отношении иудаизма мнение Аарона было ясным:

– То, что у меня есть, то есть, и я ничего не выпускаю из своих рук, ничего не меняю, и не размениваюсь.

С этим дед был безоговорочно согласен, и все выказывали большое уважение Аарону-мудрецу. Дом его был всегда полон скульпторами, художниками, писателями, коллекционерами, и везде главенствовал Аарон. Он помог построить в Берлине красивые музеи, он основал прогрессивные союзы писателей и модернистских художников, которых кайзер и его цензура запрещали. Он создал театры и эстраду, и настолько был погружен во все это, что забыл, просто забыл жениться. Много лет прошло, пока он почувствовал этот недостаток. Доходя до момента, связанного с женщинами в жизни Аарона-мудреца, дед обычно отсылал Бумбу и Иоанну из комнаты. Неожиданно ему не хватало табака для трубки, или платка, и он посылал их вдвоем принести недостающие вещи. Когда же они возвращались, лица слушателей все еще были смешливыми. Иоанна сгорала от любопытства. И однажды, когда дед начал свой рассказ о «биржевом короле Аароне», она тихо встала и спряталась в складках портьер. Дед послал Бумбу за табаком. Иоанна услышала все. Аарон, который отлично разбирался в любом деле, был абсолютным невеждой в отношении женщин, и ему понадобился брачный посредник, который послал тощую, как вобла, женщину, и она, чтобы понравиться избраннику, пришла в платье с глубоким декольте, насколько позволяла мода тех дней. Окинул ее Аарон взглядом и сказал:

«Нет! Я не могу принять дефицит без покрытия».

– В конце концов, – добавил дед, – Аарон взял в жены одну из молодых красавиц Берлина. Еврейка, каких не сыскать. Огонь-девка, острая на язычок. А темперамент!

За портьерой Иоанна услышала, как дед чмокает губами и щелкает языком. Мужа ей не хватало, завела любовника. Когда пришли доброжелатели, рассказать об этом, он вовсе не расстроился, и равнодушно ответил: «Ничего! Лучше быть компаньоном на пятьдесят процентов в добром деле, чем стопроцентным владельцем плохого дела».

Иоанна была удивлена: всего-то из-за чего дед отсылал их из комнаты? Да все нормально. Аарон был за свободную любовь! – И большая печаль охватывает Иоанну в связи со смертью

Аарона-мудреца. Это ей передается печаль в голосе деда, каким он обычно завершает этот рассказ:

– Он был самым великим и истинным из династии по имени Аарон. Он умел жить! Ого! – И дед завершал слова широким жестом, как бы натягивая удила, чтобы осадить и остудить несущихся галопом коней, и глядел поверх голов слушателей. – Чудесное поколение. Больше такого не будет. Один за другим они покидают мир. Кто еще остался кроме меня? Один-два, не больше.

– А-а, Иисусе Христе, – кричит граф Кокс, – как это все здесь выглядит! Настоящее кладбище.

Не заметила Иоанна как последний Аарон приблизил ее к концу долгой дороги. Исчезли высокие здания, широкие шоссе, красивая набережная. Пронесли мосты со статуями святых и прусскими полковниками. Вместо них украшают берега реки большие склады, и печи, уходящие высоко небеса, выпускают клубы дыма. До этого места бастующий город был безмолвным и напряженным. Отсюда далее опять пространство наполнилось обычным шумом большого города. Грубые хлопья снега, кажется, швыряются с облачных высот печей, оседая на крышах серых домов, на стали подъемных кранов, на бетонные площадки широких дворов и тут же тая. Облака копоти покрывают все.

– Настоящее кладбище, – не унимается граф Кокс.

За фабриками, по левую сторону реки, – огромная автомастерская объединенного транспортного общества Берлина. Она пуста и безмолвна, и шум фабрик с другого берега не доносится до нее. Река отделяет империю жизни и деятельности от империи безмолвия. Длинными шеренгами стоят бездействующие трамваи в открытом поле под сугробами снега. Очередь белых холмов тянется непрерывной лентой. И снег этих холмов бел и чист. Облака копоти даже не осмеливаются пересечь реку и осесть на эту замерзшую белизну. Только у ворот автомастерской снег растоптан ногами людей. Они не видны, ни близко, ни далеко. Лишь огромный плакат растянут на ограде: «Большая забастовка работников транспорта против грабительских шагов в отношении заработной платы со стороны республики!»

Доносятся голоса, но людей не видно, словно действительно говорят буквы. Но голоса звучат из трамвая, перекрывшего ворота, чтобы не дать трамваям выехать. Пикет забастовщиков нашел себе укрытие в этом трамвае от холода и снега. Стекла его отсвечивает сиренево-ледяным покровом. Только у раскрытой двери Иоанна видит пару блестящих черных сапог с высокими голенищами. Граф Кокс подхлестывает коней, и они летят галопом мимо трамвая. Враждебным ветром обвевают Иоанну пустые трамваи, погребенные под снегом. Голос из саней добавляет:

– Ах, владыка небесный, когда все это кончится? Плохие дни настали. Одному дьяволу известно, что принесут эти окаянные дни.

* * *

– Приехали, – говорит сидящий рядом с Иоанной Кокс, – почти приехали. Еще немного, и приехали.

– Нет! – взывает в ней душа, охваченная печалью. Она не хочет «приехать еще немного». Не может она в таком виде приехать к Оттокару. «Это будет плохо. Самым плохим из ее посещений графа-скульптора. Снова она будет позировать с оступевшим, лишенным чувства, лицом, замкнутая, не произносящая ни слова. А если откроет рот, – скажет абсолютно не то, что собиралась сказать. Она не знает, почему не может вслух высказать ему то, что так часто и многословно говорит про себя. Оттокар это только сон, мечта. Нельзя рассказывать то, что поверяют мечтам или сну, и чувствовать, как во сне. Иоанна согласилась бы встречаться с Оттокаром только во сне, а не в гостинице Нанте Дудля. Чем ближе она к нему приближа-

ется, тем печальнее становится. Он должна быстро подумать о чем-то радостном, чтобы стать веселой и счастливой. Если нет... изобразит ее Оттокар опять такой... странной, уродливой, с большими грустными плачущими глазами. И будет стоять перед полотном, надув щеки. Ему скучно станет смотреть на эту непонятную девочку. И он скажет ей:

– Ты не можешь выглядеть немного веселее, Иоанна? Почему ты всегда сидишь передо мной с таким хмурым выражением? Будь со мной более открытой, распахнутой душой, Иоанна.

И он снова надувает щеки, а она будет печальна и еще сильнее замкнута, и не сможет взглянуть на собственное ужасное отражение на полотне. Дедовские родственники по имени Аарон проиграли. Они лишь добавили ей печали. Может, начать думать о молодежном Движении? В Движении происходит много интересного и радостного, за исключением Саула, который сейчас в оппозиции и приносит много неприятностей. Движение готовится отметить свой юбилей. В 1933 году ему исполнится двадцать лет, и волнение усиливается со дня на день. У входа в клуб плакат:

«Готовьтесь к юбилею Движения!»

Только подумать: Движению двадцать лет! Фрида сказала, что двадцать лет – самый прекрасный возраст, а граф сказал, что когда она достигнет двадцати лет, все между ними все будет в порядке. Но пока ничего не в порядке, и тоска снова охватывает ее.

– Еще немного, еще немного! – бормочет ей в лицо граф Кокс. Они доехали до лодочного причала «водной станции», от которой начинается улица Рыбачья. Старое дерево еще больше согнулось под грузом снега, и редкие ветви покачиваются на ветру и машут остатками зелени, как бы говоря Иоанне: добро пожаловать! Но Иоанна опустила голову, и сердце ее бьется так сильно, что она ощущает это биение на шее. Не хочет она идти к графу. Вообще, не хочет. Она готова скользить в санях графа Кокса год за годом, до двадцатилетнего возраста.

– Ты чего замечталась? Совсем замерзла? Сходи, я и так запаздываю.

Кони остановились перед странноприимным домом Нанте Дудля, но Иоанна продолжает сидеть на облучке саней.

– Хоп! – покрикивает граф Кокс. – Спрыгивай, быстро!

Иоанна топчется на снегу, и все булавки одновременно вонзаются ей в ноги. Она вынуждена спрятаться под арочным сводом ворот, рядом с мемориальной табличкой Бартоломеуса Кнастера и его жены Мадлен, поправить подол платья. Девочка открывает дверь ресторана, и колокольчик над дверью поет ей:

– О, Сюзанна, о, Сюзанна, до чего прекрасна жизнь!

Ресторан пуст. Не видно ни Нанте Дудля, ни доброй Линхен. Из кухни доносятся тупые удары топора. Когда входная дверь сыграла свою мелодию, на миг возникло в стекле двери, отделяющей ресторан от кухни, лицо одноглазого мастера Копана и уставилось в Иоанну, но тут же исчезло. Ресторан Нанте Дудля сильно изменился. Стены оголены, и только светлые пятна на обоях свидетельствуют, что когда-то здесь висели четверостишия поэта Нанте Дудля. Теперь только над стойкой Нанте висит единственный стишок, и кажется оборванным и потерянным, несмотря на большие буквы, встречающие посетителей ресторана:

Если бы знал человек, что такое –
Это малое, острое, золотое!
Только когда исчезнет с глаз оно –
Это острое и золотоглазое,
Он поймет внезапно и ясно,
Насколько оно освежающе прекрасно.

Это лебединая песня Нанте Дудля. Песня прощания со всем, что было ему дорого. Расставания со свиной с горохом и квашеной капустой, с сосисками, с которых каплет жир, с

солеными огурцами, от золотистой капли, поблескивающей в рюмке. Нанте Дудль болен. Он подхватил язву желудка и должен соблюдать диету. Добрая Линхен без усталости готовит безвкусную еду для больного мужа.

– Вся беда, – рассуждает она – из-за одноглазого мастера. Не только одну язву, а пять вместе можно получить из-за него. С тех пор, как он здесь появился, нет у нас больше жизни.

Нанте Дудль не отвечает ей, молча и мужественно глотает осточертевшее ему молотое мясо и картофельное пюре с молоком. И что он может ответить Линхен? В споре язычок ее всегда берет верх. Действительно, в последнее время мастер чересчур открывает рот, говорит не по делу и портит настроение Нанте, но что он будет делать без мастера в доме? Кто займется всеми заботами, кто будет рубить дрова Линхен, преследовать мышей и крыс, кормить скотину и заботиться о крестьянах в рыночные дни? Все это исправно, от души, исполняет мастер. Все эти объяснения обрываются, когда он слышит обвинения Линхен в том, что мастер пристыжной нацист и отравляет их дом своим фанатичными речами. Нанте обещает ей, что избавится от мастера тогда, когда избавится от своей язвы. А пока глухие удары его топора сопровождают Иоанну по ступенькам – к Оттокару.

– Утро сплошных неожиданностей, – восклицает Оттокар, увидев застывшую в дверях Иоанну, а та немеет взглянув на скульптора. Проходит время, пока девочка преодолевает смущение. Оттокар в длинном утреннем халате, волосы его затянуты тонкой сеткой, он сидит за столом и наслаждается ломтем хлеба. Это его завтрак.

– Заходи, заходи, Иоанна, – приглашает ее Оттокар, продолжая сидеть, – что ты стоишь в дверях? Снимай пальто и выпей чашку кофе.

Но она не в пальто, а в кофте, и руки до того замерзли, что она не может разогнуть пальцы, чтобы расстегнуть пуговицы. Она бежит к печке, стоящей посреди комнаты. Только теперь Оттокар поднимается со стола и устремляется ей на помощь, обдавая запахом духов. В углу, недалеко от печки, его не застеленная, смятая постель, и Иоанна не отводит от нее глаз. Около постели, на стуле, женские шпильки для волос, более колючие, чем булавки в подоле ее юбки. Оттокар замечает ее взгляд и торопится к постели, чтобы застелить ее и убрать шпильки со стула.

Иоанна сосредоточилась на пуговицах, голова ее опущена над кофтой, лицо напряглось. Вернувшийся к ней Оттокар, смотрит на нее изучающим взглядом.

– Снова ты одела свою униформу, – говорит Оттокар после того, как она наконец сняла кофту, и он видит ее новую синюю юбку и серую рубашку Движения, затянутую широким кушаком, на пряжке которого отчеканен большой знак магендавида, – снова эта уродливая форма? Я ведь просил тебя приходить в светлой одежде. Не в этом я хочу тебя изобразить.

– Нет! – огорчается Иоанна, и в голосе ее слышится отчаяние. – Я не могу поменять рубаху, говорила вам много раз, что мы дали клятву не снимать ее, пока не репатрируемся в Израиль.

– Ах, Иоанна, не начинай снова, – говорит он и, чувствуя неприятные нотки в своем голосе, старается улыбнуться ей. – Иоанна, – он берет ее лицо в свои ладони, – сделай на этот раз что-то для меня. Я хочу видеть тебя девушкой, как все девушки, а не солдатом в униформе.

Оттокар берет за синий галстук на ее шее, и резким движением оттягивает его в сторону. Совсем недавно вручили ей его на праздничной церемонии в связи ее переходом из младшей группы в старшую.

– Нет! – вспыхнули у нее глаза, и руки начали поправлять скомканную им одежду.

– Давай, начнем сеанс.

– Нет! Вы же еще не одеты.

И пока он скрылся за небольшой загородкой, помыться и привести в порядок одежду, она стоит у окна, глядя на странное выражение глаз образа на полотне, и удивляясь тому, что он так долго не возвращается. Картина, на которую она смотрит, находится между идолом с тремя

головами, покрытым большим покрывалом, и огромным рисунком памятника Гете, который Оттокар собирается поставить на бетонной площадке, на месте выкорчеванной скамьи в переулке, где проживает Саул. Гете в позе оратора, лицо его ожесточено гневным выражением. Нет! Она просто не может понять, как дали Оттокару такую почетную премию за такого уродливого Гете.

Иоанну охватывает дрожь, она чувствует внезапный холод. Печурка нагревает лишь малую часть комнаты в огромном чердачном помещении. Из всех щелей дует ветер и шумит в печной трубе. За окнами видно тяжелое небо, и снегопад не прекращается ни на минуту. Из глубины дома доносятся глухие шорохи. Одноглазый мастер поднимается по ступенькам, шаги его тяжки и громки. Он поднимается на чердак – поставить мышеловки, и отзвук его шагов не умолкает в ушах Иоанны даже после того, как они были поглощены пространством большого дома. Закрывает глаза, чтобы не видеть, но ясно видит: женщина двадцати лет с неизбывной печалью в глазах. Выражение лица, как у Иоанны, лицо девочки, а глаза очень старые. Темные тени подобны прозрачной одежде на ее теле, которое обнажено, даже грудь прорисована. Стыд прокрадывается душу, чем больше она смотрит как бы на себя, там... где она такая, настоящая женщина. И когда кисть Оттокара проходит по обнаженному телу, Иоанна всегда краснеет, и чувство греха смутно пылает в ее душе. Она ощущает прикосновение Оттокара к женщине на полотне, как прикосновение к ней самой, и душа ее наполняется волнением и смущением.

– Иоанна, ты уже готова? Отлично!

И вот уже его руки заняты делом, кладут еще одну тень на полные красивые плечи женщины. Под форменной рубашкой вздрагивают худые острые плечи Иоанны.

– Что скажешь сейчас? Красивее?

– Нет!

– Повернись лицом ко мне, Иоанна. Как ты сидишь? Как будто все беды мира лежат на твоей шее. Смягчи выражение лица, сделай его более привлекательным. Сиди прямо. – Он приказывает ей хриплым голосом, и рука его выпрямляет ей спину сильным движением. Ноги его давят на ее колени, и все булавки разом впиваются ей в икры. Крик вырывается из ее рта.

– Что случилось? Я тебе сделал больно?

– Да.

– О, я не хотел этого делать. Я хотел посадить тебя так, как мне хочется тебя изобразить. Иоанна, посмотри на свое изображение. Ты так и не сказала мне, нравятся ли тебе внесенные мной изменения.

– Не вижу никаких изменений. Она такая... как всегда.

– Но, Иоанна, как же ты не видишь? Вчера я работал над твоим портретом много часов, зажег все огни в студии, и лицо твое смеялось навстречу мне. С любой точки оно смеялось больше, чем теперь. Может быть, ты не видишь этого из-за утренних сумерек? Сегодня нет хорошего света, и он темнит твой облик.

Оттокар включает большой фонарь над картиной, затем подряд все лампы. Ослепительный свет проливается в темное помещение. Портрет Иоанны сияет, глаза ее расширяются в испуге. Верно! Рот ее на полотне улыбается, но глаза не отвечают улыбающимся устам.

– Почему ты дрожишь, Иоанна?

– Очень холодно.

Он зажигает электрическую печь. Длинные полосы вспыхивают красным огнем, но они не согревают Иоанну.

– Иоанна, ты почему так печальна? Скажи мне откровенно хоть один раз.

Иоанна не отвечает, но Оттокар не отстает.

– Скажи мне, у тебя проблемы?

– Да.

– Ну, какие?

– Большие.

– Скажи мне откровенно, что за проблемы мучают тебя? – он приближает свой стул к ее стулу, чтобы взять ее руки, но она чувствует, как они прокрадываются ей за спину.

– Давай, говори по делу, какие у тебя большие такие проблемы?

– А-а, такие, какие вы не очень любите слышать... Ну, эти... в Движении.

– Я готов слушать, меня интересуют все твои проблемы.

– Вы знаете, Оттокар, что мы готовимся к юбилею Движения. Через два месяца.

– Ужасно! Это действительно беда. Я тоже не люблю юбилеи.

– Почему?

– У юбилеев, Иоанна, запах увядания. Вот, к примеру, пара празднует пятидесятилетний юбилей их совместной жизни. Молодость их в прошлом, старость на пороге, и нечем им гордиться, кроме слова «сделали». Когда приходят к юбилею, лучше всего – молчание, скромный взгляд себе в душу, а не шумное празднование напоказ. Прекрасно, Иоанна, что и ты не любишь юбилеи.

– Но я люблю их, даже очень. И мы не празднуем пятидесятилетие, как ваша пара. Мы празднуем двадцатилетний юбилей, а это лучший возраст в жизни, и мы вовсе не говорим о том, что «сделали», а о том, что сделаем. Мы должны уехать в Палестину...

– Иоанна, я ведь не об этом спрашивал тебя, а о твоих проблемах.

– Я и рассказываю о моих проблемах. В наш юбилей будет большой праздник всех евреев Берлина.

– И это твоя проблема?

– Конечно же, нет. Но на этом празднике будет петь большой хор. Все Движение, как один хор. Все поднимутся на сцену и споют одну песню, прекрасней которой я не слышала, из оперы «Навуходоносор». Вы слушали эту оперу Верди?

– Да. И это причина твоих бед?

– Эта песня все время звучит во мне, песня очень печальная. Но в конце голос взлетает, и последние строки песни пробуждают во мне радость этим взлетом. Все время я пою про себя эту песню, и даже не чувствую этого. Вчера меня даже вывели с урока латыни, и гнев учителя был велик, и мне не поверили, что я это сделала не специально.

– Ну, Иоанна, – смеется Оттокар, – не такая уж это великая беда быть выставленной с урока латыни из-за прекрасной песни, даже если тебе не поверили...

– Нет, нет, беда не в этом. Беда в том, что мне не дают ее петь в хоре Движения. Я, единственная, всегда стою в стороне.

– Но почему, Иоанна? Почему тебе не дают петь со всеми?

– Я ужасно фальшивлю.

Лицо ее в ладонях Оттокара, и давно ей не было так хорошо, как в эти минуты. Ладони его охлаждаают ее пылающее и все же успокоившееся лицо. Насколько это прикосновение отлично от обычных его прикосновений. Он ощущает тонкий трепет ее ресниц в своих ладонях, как дрожь собственных нервов. В душе его единственное чувство, доброе чувство милосердия, единственное желание быть с ней добрым. Он нагибает голову и целует ее в лоб.

Стук в дверь. Рука сильно колотит в филенку. В дверях одноглазый мастер с мышеловкой в руке.

– Могу ли я поставить ее тут у вас, господин граф?

– Нет! – Граф просит закрыть дверь, но мастер успел кинуть взгляд внутрь и непристойно хмыкнуть при взгляде на Иоанну. Оттокар хлопнул дверью перед носом мастера, и поспешил к Иоанне. Глаза ее все еще обращены внутрь, словно мастер не хмыкал, и дверь не захлопнулась с громким стуком, и беседа их не прерывалась.

– Верно, Оттокар, что люди, которые фальшивят в пении, чувствуют красоту музыки лучше, чем те, кто поет?

– Конечно, детка, несомненно, – радуется Оттокар ее мечтательному взгляду, который не оскорбили хмыканья одноглазого мастера, – не столь важно, что голос фальшивит в хоре, важно, что он верно звучит в сердце. Есть люди, которые всю свою жизнь пели только для себя.

– Ах, Оттокар, не хочу я всегда петь одна. Один раз, только один раз я хотела бы в юбилей петь со всеми.

– Пой, Иоанна, пой, а я послушаю.

Что, здесь она будет петь юбилейную песню Движения? Перед Оттокаром, вечно смеющимся, когда она начинает рассказывать о Движении и о репатриации в Израиль.

– Нет, я не буду петь!

– Пой, Иоанна. Я хочу знать твою песню.

– Но я же фальшивлю...

– Для меня ты не фальшивишь.

– Сначала погасите все лампы в комнате. Я не смогу петь при этом ослепляющем свете.

– Но почему, Иоанна? Я хочу видеть тебя поющей. Ты что, стесняешься?

– Да.

Все огни погашены. Снаружи облака грузнеют во много раз, и в комнате все более темнеет свет приближающихся сумерек. Иоанна поворачивает стул, чтобы сесть спиной к картине.

– Пой мне, Иоанна, пой.

В пространстве теней она видится ему как явление чего-то, лишённого имени. Неверными шагами он приближается к ней.

– Отойдите. Я не смогу петь, когда вы так близко.

Он отступил к портрету, как бы сохраняя к ней близость. Все тени сгустились за согнутой ее спиной. Он не хотел изобразить ее девушкой, превращающейся в женщину, ибо пытался найти в ней цельность, которую не нашел в своей жизни. Он как бы соединил ее с Клотильдой, королевой переулков, убрал чистоту юности с ее лица, изобразив зрелой женщиной, полной жизнью.

– Почему ты не поешь, Иоанна?

Хриплый дрожащий голос Иоанны звучит в студии Оттокара.

Твоих праотцев мысли сильны и верны,
Так летите к пределам нашей страны
Журавлиным клином длинным —
К горам ее и долинам,
И да будут пути все пройдены
Вами с миром – в сторону Родины...

И звуки песни, кажется, и вправду летят из дальних краев.

Иордана воды текут неуклонно,
К победителям – башням Сиона,
Тебе, Родина, слава отныне
От сынов, сидящих в чужбине.

Чудится, звуки летят не из ее уст, а текут из ее глаз поверх картины:

Наши скрипки безмолвны в бездолье,
Не звучат наши песни в неволе,
Наши губы сжаты поныне
С давних пор, что сидим на чужбине,

От души нашей неотделима
Печальная песнь Иерусалима.

В ритме звуков его мысли перескакивали от воспоминания к воспоминанию, оттесняют одну боль от другой, открывают одну за другой страницы его жизни, и выглядывает из них языческий бог всеми тремя головами, и они не пусты, какими были раньше. Внезапно он ухватил в ее пении то, что не понимал до сих пор. Это был элегический плач-пение человека, закованного в цепи, перед висящими перед ним скрипками или лирами, чувства человека, который не может петь на чужбине. И слышит великую будущую весть о Родине, где откроются ему все источники песни, истинная его жизнь. Лик будущего открылся в страданиях над осколками разбитого языческого идола. Целостный и зрелый облик Бога вырос из мглы, окутывающей Иоанну. Он чувствовал свои пальцы, охватывающие скальпель, который прикасается к глине, чтобы высечь перед его Богом черты нового воплощения. А голос ее все еще звучал:

Сион, мы к тебе вернемся,
Вновь старинный Псалом зазвучит.

В голосе ее слышались уверенность, напор и великое обещание. Она смолкла и сжалась на стуле, погрузившись в себя. Ее серая рубаша слилась с серыми сумерками в комнате и темными завесами за окнами. Звуки все еще висели в помещении, словно собирались поселиться в нем навечно. Оттокар стоял, замерев, еще несколько долгих минут, пока из сумерек не раздался стыдливый ее голос:

– Фальшивила?

Мелодию, которую она пела, явно сочинил не Верди. Она пела свою песню, и мелодия была ее. Голос действительно не подходил хору. Она не освоит никакую мелодию, поднесенную ей готовой. Всегда будет сама для себя сочинять, и голос ее будет звучать фальшью в ансамбле.

– Нет, нет, Иоанна, – улыбается ей шутливо, но с большой долей добродушия, Оттокар, – ты пела очень красиво. Было приятно тебя слушать.

– Это правда, Оттокар? – от неожиданности под ней чуть не опрокидывается стул.

– Правда, ты отлично пела.

– Это из-за слов, Оттокар. Слова настолько прекрасны, что говорят сами за себя даже тогда, когда мелодия фальшива.

– Нет, Иоанна, ты не фальшивишь. В песне, идущей от сердца, нет фальши.

– И вы чувствовали, насколько прекрасны слова?

– Хм-м, – хмыкает Оттокар, выражая сомнение.

– Вы знаете, когда в Движении нам объясняют, почему нам следует репатриироваться в Израиль, у меня возникает чувство, что в этих длинных объяснениях что-то не хватает. И это «что-то», которое необычайно важно, очень меня стесняет. Но когда я пою для себя эту песню, вдруг для меня словно бы все сказано. Слова песни говорят мне то, что я бы хотела услышать, и это потому, что они не говорят, а выпеваются. Например, когда я произношу слово «чужбина», оно не говорит мне ничего больше, чем любое другое слово. Но когда песня выпевается во мне это слово, я чувствую точно, что такое чужбина, и что такое – Сион. Только губы мои фальшивят, я не фальшивлю, я слышу каждый звук таким, как он есть. Спросите, почему я хочу уехать в Палестину? Потому что я слеую за звуками моего сердца, только об этом никому не говорят. Будут смеяться надо мной. Всегда говорят, что надо изъясняться простыми словами, что звуками музыки не говорят. Но вам я рассказываю.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.